

В Л И Г Л Е З

ПРОБКА

Эли Глез

ЛЮБКА

(Грустная повесть о веселом человеке)

I

В нашей зоне — событие: привезли нового зэка. Для моей биологической души (я бывший антрополог, а теперь осужденный в зоне № 17 Мордовского Управления ИТУ МВД СССР), итак для моей биологической закваски это событие всегда ассоциировалось с посадкой новой особи в тесную клетку или аквариум. Старожилы настороженно ворча, шипя или просто разевая беззвучно пасти, собираются вокруг новичка, обнюхивают его физически и мысленно, покусывают, ощупывают, и в зависимости от его реакций и собственного настроения — или дружно съедают или допускают в свою теплую компашку, но на совершенно определенное, ограниченное социальной иерархией место. На этот раз особь оказалась не по зубам нашим застарелым «временно осужденным и изолированным от общества» (15–25 лет, а то и больше), более того сама выбрала себе место в лагерной иерархии, которое, впрочем, никто и не оспаривал.

Новичок вкатился в барак, именно вкатился, ибо был гладким и округлым во всех измерениях, начиная с плешивой головы с курносым лепешкой носом и водянисто-серыми глазами и кончая косолапыми короткими ножками, поддерживающими довольно объемистое брюхо. Он быстро и ловко орудовал обрубками пальцев, роясь в своем вещевом мешке, и прилаживал какие-то тряпочки на постели. На обеих руках у него были только первые фаланги, — все остальные были то ли отморожены, то ли ампутированы.

Новичок деловито расстелил чистые простыни на койке, у самого входа в барак, а затем зычным тенором объявил, что зовут его Любкой и что другого обращения он не принимает. Ежели кто попытается называть его по тюремным документам Петькой — получит 100 кило пачек (т. е. будет жестоко избит). Кроме того, Любка заявил, что он — «...воровка в законе и женщина, готовая на все за любовь!» Говоря или, вернее, выкрикивая все это, Любка кокетливо покачивал головой, проделывал некие вращательные движения тазом, явно стараясь казаться привлекательным и женственным. Толстый серый ватник, накинутый на плечи, и грубые тюремные сапоги делали все движения его еще более гротескными и вычурными. Однако, в бараке никто не смеялся и не потешался, несмотря на тюремную падкость к самоунижению и выворачиванию наизнанку человеческой приватности. Я заметил только несколько веселых взглядов, да мой сосед по койке, скрюченный временем и тюрьмой литовец, вздыхал и покачивал брито-седой головой. Любку привезли на нашу зону с так называемого «полосатого» лагеря, где содержатся «особо-опасные рецидивисты». Перевод из зоны в зону — дело обычное для советских тюремных порядков: боятся начальнички-коммунисты человеческой консолидации, но иногда такая переброска означает и коренное изменение, коренной поворот в судьбе зэка. Вот и Любка был переведен с особо-строгого (т. е. особо-изуверского) на наш строгий режим (просто изуверский) перед близким освобождением. Ему оставалось по приговору сидеть «всего» четыре года. Тюремные старожилы не напрасно остерегались судачить и улыбаться: Любка был фигурой известной в хрониках ГУЛАГа и ГУИТУ. Почти 30 лет тюрем и лагерей, из коих последние 15 на полосатом режиме (полосатом, так как униформа у «особистов» не серая, а в поперечную

желто-серо-черную полосу). Колонна ведомых под конвоем «полосатиков» живо и точно воспроизводит кадр из фильма о нацистских лагерях уничтожения. Так сказать, прямая наследственная линия от Треблинки до Потьмы.

Вскоре мы обнаружили, что старый, заслуженный лагерник Любка строго соблюдает сложившиеся десятилетиями лагерные традиции, согласно которым почитатели содомского греха относятся к одной из самых низших и презируемых в зоне каст. Они должны спать в бараке на самом худшем, обычно краевом месте, а в тюрьме и рядом с парашей. Лагерный этикет запрещает им употреблять общую посуду и кружки, сидеть вместе со всеми в столовой. Словом, они парии лагеря и тюрьмы. Вся злоба и ненависть зэков, копящиеся изо дня в день, находят себе выход в садистском, нечеловеческом унижении этой инородной касты, к большому удовольствию самого гуманного тюремно-коммунистического начальства. Ибо не содомцев казнят и унижают зэки, а те силы, что оторвали их от родного края, от близких, от черной земли и зеленых листьев, от запахов леса и парного молока и погрузили в зловонные клетки и загаженные загоны лагерей и тюрем.

Но вернемся к Любке, который полностью и скрупулезно придерживался лагерного этикета и занимал свое место в лагерной кастовой нише, не высовывая из нее даже кончика носа, даже если и была возможность выйти на более достойное место (если таковое вообще имеется в зоне!). Битый, ломаный-переломанный Любка цепко держался за это место в лагерной иерархии и чувствовал себя здесь весьма уверенно и надежно. Все — дальше только смерть, больше падать некуда! И это крайнее, запредельное положение давало Любке право на самоопределенность и оригинальность, делали его личностью — сильной и выражающий себя без оглядки на мнения и суждения. Любкиного языка и кулака боялись все наши застарелые стукачи, ибо еще ниже, чем «пидор», «пидорас» считается в лагере крысятник-вор, что крадет у своих же из тумбочек, и стукач. И Любка, глядя на подозреваемого в этих грехах, гремел на весь барак:

— Я хоть и пидораска, и ебанная-переебанная во все дырки, а по тумбочкам не шастаю, да с фашистами-коммунистами кофею не распиваю и стучать к оперу не бегаю.

Любку привезли к вечеру, в субботу. Благословенный вечер! Единственное время, когда можно было опустить ноги в горячую воду, испытать жгучее прикосновение душевых струй и почувствовать себя физически чистым. Любка в тот же вечер появился в нашей небольшой мыльне. Он вошел в нее, как бы смущаясь, прикрывая срамное место и грудь полноватыми руками.

— Сколько мужчин молодых и красивых, и я среди них — пожилая женщина!

Любкино плотное и довольно жирное тело упруго перекатывалось по мыльне. Наши молодые парни скалились и фыркали. Было, действительно, забавно: Любкина кокетливая дамская походка, ямочки на щеках и затейливые обороты речи удивительно не вязались с чисто мужским, хоть и разрушенным временем телом. Еще смешнее показалось, когда Любка, неся шайку горячей воды, оборотился к обществу передом. Меж ног нашей «женщины, готовой на все за любовь», — висел огромный толстый хобот, которому мог бы позавидовать любой секс-атлет.

Через всю грудь и живот Любки вилась затейливая вязь татуировки: «Лучше умереть на хую у молодого парня, чем на лесоповале».

— Тоже верно, — заметил кто-то из моих соседей, кивая на эту сентенцию.

На обеих нежно очерченных округлостях Любкиных ягодиц чья-то уверенная рука вытатуировала огромные сине-черные глаза. Так что, когда он перекатывал своими прелестями, глаза оживали и начинали подмигивать. Мой приятель — румын, не отличавшийся стеснительностью и деликатностью, спросил Любку, мылившего голову:

— Ну, а глаза на жопе, что означают, Любка?

Живо повернувшись к вопрошавшему, Любка ответил из-под мыльной шапки, скатывающейся с плешивой головы на покатые плечи:

— А это, юноша, дорогой презент-сюрприз от моего любимого дружка! В молодости я такой поблядушкой в лагере была! Так он меня разложил и эти глаза начертил, чтобы жопа знала, кто ее ебет. Ох, и натерпелась я тогда! Месяц сидеть не могла, да он же еще и с еблей приставал.

Любка привстал и снова продемонстрировал свои ягодичные глаза. Банная компания веселилась, но смеялись по-доброму, явно поощряя Любку на новые интимные признания. Так с того вечера Любка стал вполне уважаемой и более того — неотъемлемой частью лагерной жизни.

Любимой темой Любкиных речей (громких и явно рассчитанных на передачу лагерному начальству) была золотая мечта о переводе его в так называемый уголовный лагерь. Дело в том, что в СССР официально нет и не может быть политических лагерей. Коммунисты не преследуют за мысли! Нет, ни в коем случае! А как же статья 70-я, 190-я? Так это же политическая уголовщина! И поэтому наш лагерь числился исправительно-трудовым учреждением для особо-опасных государственных преступников. То бишь уголовников. Вот и сидели в нашем лагере диссиденты, националисты, перебежчики, шпионы, но более всего было коллаборационистов всех мастей, начиная от жестоких палачей и кончая рядовыми полициями и скромными охранниками, никого никогда не убивавшими. Любка часто вопил на всю зону, особенно в ларечные дни:

— Отдамся любому за полкило подушечек!

Но никто не спешил на соблазнительное предложение. Любка сетовал:

— Бляди вы политические, никто меня здесь ебать не хочет! В уголовную зону хочууу!

Жалобы Любки были явно преувеличенными, не могу с точностью судить о его сексуальных победах и поражениях в зоне, но многие снабжали падкого на сласти Любку пресловутыми подушечками (мерзость на вкус необычайная!). Однако, как правило, это была плата отнюдь не за любовь, а за неистощимые Любкины новеллы. Всеобщую же популярность он приобрел благодаря своим жопошным глазам. Часто, особенно в воскресные дни, он крутился по зоне и заговаривал с солдатами, скучавшими на вышках. Кокетничая, Любка заголялся, показывая солдатам свой желтый зад и подмигивающие на нем глаза. Вскоре этот аттракцион стал любимым солдатским развлечением. Иногда, воскресным погожим днем, мы могли слышать ломкий юношеский голос с вышки:

— Эй, гражданка Любка, покажи глазки на жопе!

Временами этот аттракцион служил доброму делу для всех обитателей зоны. Обычно это бывало в дни, когда нас навещали «рабоче-крестьянские» делегации с воли. Наши «воспитатели» из Комитета Гос. Безопасности обладали дурной привычкой довольно регулярно привозить в зону каких-то партийных дам и кавалеров, представляя их то рабочими, то колхозниками, то сотрудниками каких-то неведомых институтов. Делегация розовощеких, расфуфыренных женщин и черно-костюмных мужчин усаживалась в нашем обшарпанном клубе-столовой в импровизированном президиуме, с опаской поглядывая на серую массу бритоголовых «уголовников», на их запавшие глаза и щеки, на резкие морщины, зиявшие черными полосами даже на молодых лицах. И начинались длинные, нудные увещевания, читаемые по бумажкам, часто с явным непониманием текста, заготовленного где-то в недрах КГБ. Вся зона знала, что после этой изуверской нудятины будет какое-нибудь кино (волю покажут, любовь, как они там в ресторанах жрут...). И потому с нетерпением

ждала, когда же эти фраера с их проститутками выкатятся с зоны. И тут нас выручал Любка. Иногда подзуживаемый нами, а то и по собственной инициативе, он, невзирая на протесты воспитателей из КГБ, вставал, как бы желая задать вопрос, и начинал елейным голосом:

— Граждане-делегаты, все, что вы тут трепались, — это даже очень верно: «Главное в жизни человека — встать на свой правильный путь». Вот и я тоже на путь настоящий хочу, а мне начальство не дает. Вы взгляните на мои рученьки, — и Любка протягивал к замороженным делегатам свои страшные обрубки-пальцы — Я ведь ни писать, ни читать не могу, а сижу тут как политическая преступница, и, главное, никто меня тут не ебет, а ведь моя глазастая жопужка этого просит!

Тут Любка спускал порты и оборачивался задом к потрясенному президиуму. Там начиналась тихая паника, и дамы с красно-белыми пятнами на щеках начинали бежать, а вслед за ними и кавалеры. А Любка, разгоряченный нашим смехом, выскакивал вслед за делегатами и, вертя задом, орал:

— На уголовную зону хочу... Ебаря-вора желаю! Я же безграмотная, блядь пидорасная, а меня с политиками держуть!!!

Обычно Любку, впадавшего в истерику и искренне начинавшего рыдать, а то и биться в пыли у столовой, уводили в медпункт отпаивать валерианкой, а наши агитаторы-воспитатели, сопровождаемые местным начальством, плохо скрывавшим ехидные улыбки, вылетали пулей через вахту. Мы же получали свою порцию воскресного зрелища: очередной фильм в очередное тюремное воскресенье.

Эх, дорогие мои гомосеки-реформаторы! Чего стоят все эти словесные побрякушки здесь, в свободном мире, где можно говорить все, да никто слушать не желает?! Легко устраивать бунты, организовывать всякие там общества, объявлять о своей принадлежности к сексуальному меньшинству здесь, в США или в Европе... Но вот подумайте, какой личностью нужно было быть (или с отчаяния стать) в советской зоне, где «мужеложество» карается так же жестоко, как и кровожадное убийство: от 5 до 8 лет заключения, когда и после освобождения волчий штамп преследует уже отсидевшего свое человека еще много лет, а то и до конца жизни. Какой смелостью нужно было обладать, чтобы вопреки всему встать и заявить: «Да, я такой, каким меня создала Природа или Бог, и буду таким до конца жизни, несмотря на презрение и преследования как друзей, так и врагов!»

Безграмотный, несчастный в своей немоте Любка не мог этого выразить словами, но делал это иначе: через эскапады и истерики, через скандалы и бесстыдные жесты.

А вы говорите, — «Gay pride!» И считаетесь героями, пройдясь под охраной полиции в ежегодном параде по Гриничвиллдж. Ходили бы вы парадными, если бы, не дай Бог, в США пришли к власти красноватые профессора из Гарварда или Принстона, да переделали бы жизнь по любезному их сердцу советскому образцу?! Ах, как бы я хотел перенести этих снобов из Айви Лиг на советскую большую зону. Да не гостями на икру с водкой, да не на яхшание с запланированными революционерами — Евтушенко-Вознесенско-Глазуновыми, а как наших рядовых советских граждан и лет на 5–7 (от 5 до 7 лет за просоветскую деятельность)! Да о чем же это я? О Любке и его историях... Первое интермеццо

Вечерний сумрак медленно наполняет комнату, на высоком ложе покоится остывающее тело ушедшего в небытие. Широкий картофелеобразный нос, плотно сжатые чувственные губы Пана, шишковатый лоб — все желтеет, заостряется и, исчезая, становится легендой. А рядом с ложем в широкой глиняной чаше остатки темного питья, что увело к предкам вопрошателя и насмешника, высекавшего острым резцом скепсиса из бесформенной глыбы фраз, мнений, суждений — мысль и знание. Из фиолетового мрака наступающей ночи вступает в комнату и наполняет ее своим телом, закованным в бронзу и мышцы, юноша. Медленно приближается

он к ложу и долго смотрит на родные и уже незнакомые черты того, кто был любовником, и другом-врагом, и разоблачителем, того, кто наполнял смыслом бытие этого юного искателя чувственных и духовных наслаждений.

Меркнет свет в маленькой комнате. И рука Алквиада опускает веки, на ослепленные смертью глаза Сократа.

## II

Начало рассказов Любки вело нас на Волгу, на ее спокойные, молчаливые берега, на раскинувшиеся широко и безмятежно степи, пересеченные редкими перелесками, где трепетали листьями березы, да золотились хохломскими красками осины. Здесь, в небольшом, запрятанном между мягкими травяными холмами русской равнины селе, и родился Любка, нареченный при рождении по желанию бабки — Петром. Так и рос он, вытягиваясь с годами в тонкошеего, быстроглазого ваньку с густой шапкой выгоревших соломенных волос. Вместе со всеми прыгал нагишом в темную парную воду, что застаивалась летними утрами у высоких обрывов. Вместе со всеми прятался в лозняке, играя в казаки-разбойники или в пряталки. Словом, был до поры обычным среди обычных соседских пацанов и девчонок.

Отца Петька не помнил. Бабка сказывала, что ушел он из дома, исчез, сгинул из села, когда Петьке было всего год.

— То ли в город какой подался, — шамкала бабка, — то ли в армию записался, а там и война его сжевала...

Рассказы бабки были противоречивыми и неясными. Словом, не было у Любки, тогдашнего Петьки, отца. От матери остался в памяти темный медленный взгляд, да чуть горьковатый запах ее рук. Умерла мать тоже рано, оставив бабке, не считая Петьки, еще четверых пацанят и пацанок. Умерла мать как-то легко и быстро. Сбежавшиеся на крики бабки соседки начали плач и причитания, установленные обычаями и преданиями. В избе стоял гомон и вой, в котором бабка поначалу тоже принимала участие, но вдруг она замолкла, загнала ребятишек на печку и своим низковатым голосом приказала:

— Ну хватит голосить! Помогайте Нюрку обмывать, обряжать!

Крестясь, соседки испуганно замолкли, и две самые близкие подруги матери остались помогать бабке. Младшие ребятишки, наревевшись, заснули, а Петька высунул свою головушку из-за занавески. Голое тело матери было белым и удивительно гладким. Под сильной рукой бабки безжизненно мотались рано обвисшие груди, поливаемые теплой водой. Больше всего поразило Петьку, что между ног у матери был только пучок темных волос и больше ничего. А затем Петька получил здоровенную затрещину и спрятался за занавеску, опасаясь даже голос подать.

Бабка держала дом крутой рукой. И Петька боялся ее пуще ночных рассказов о чертях и бесах. Рано, лет в девять, Петька начал помогать бабке и в поле, и по дому: полоть, косить, даже корову доить — все он мог. Ночами Петькино тело ныло от дневной работы. Он часто лежал без сна, на печке, согреваемый ее теплом и убаюкиваемый сопением раскинувшихся во сне ребятишек. Однажды, морозной зимой, Любка, играя с соседскими мальчишками, провалился в затянутую тонким льдом полынью. Она по счастью была мелкой, но Петька быстро обледенел и покрылся изморозью. Сопровождаемый толпой ребятишек, добрался он до дома, где бабка, чередуя оплеухи с причитаниями, раздела его догола, натерла самогоном

и постным маслом и запихнула на печку, навалив на его начинающее зреть тело тяжелый мохнатый тулуп. И Петька впервые ощутил странное волнение, когда мягкий черно-седой волос тулупа стал приятно щекотать его ноги, и набухший за последний год срам, и твердые, упрямо торчавшие сосцы. Ночью он проснулся от странного ощущения: его срам, всегда такой мягкий и тряпочный, налился кровью и был твердым как дерево. Испуганный, страшась разбудить бабку, он стал гладить непокорный, непослушный орган, вдруг ставший особенной частью тела. И внезапно ощутил он болезненное и сладкое сокращение где-то внутри этого органа, что-то жаркое и липкое излилось на Петькин живот. Стыдная и невиданно приятная боль скользнула по Петькиному хребту и замерла где-то в самом низу живота.

Нет, не заболел тогда Петька от ледяной воды, но с тех пор мохнатый тулуп стал его ночным компаньоном и любимой игрушкой. Правда, того сладостного ощущения он никогда более не испытывал и, более того, боялся его повторения. Но все покрытое густым волосом стало вызывать в Петьке неукротимое любопытство и стыдное желание — прикоснуться голым телом. Бабка часто драла его без пощады, заставляя в обнимку с большой соседской собакой. Не то, чтобы она до конца понимала содомские Петькины побуждения; просто странной казалась ей эта привычка: точно малому дитю обниматься с неразумной тварью.

А лет в 12 обнаружился у Петра талант. Гуляли на свадьбе у дальних родичей бабки. Шумно, пьяно топтали сапогами мужчины. Перебирая платочки жилистыми руками, бабы старались перекричать друг друга в протяжных песнях и разухабистых частушках. Подвыпивший бабкин свояк пристал к Петьке, сидевшему впервые вместе со взрослыми за столом:

— Пей, молодой-красивый, хочу тебя у пьянить до подстольного лежания!

Бабка, как могла, оттирала свояка, но выпить Петьке все же пришлось. Жгуче-горький самогон был словно удар. Сладко замутнело в голове. А тут и гармонист подоспел, фальшивя на переборах. Ополоумевший, потерявший стеснительность, полез Петька из-за стола на середину круга. Сама, без натуги выскочила и пропелась бесстыжая частушка:

Мой милашка без коня, Без портов и без сапог. Разнесчастливая я — Даже хуя нет меж ног!

На что были пьяны гости, но и они замолкли от неожиданной похабщины, показавшейся еще более смачной от нежности Любкиного возраста. Бабка только руками развела. Свояк же, густо рыгнув, разбил с грохотом бутылку о пол и заорал:

— Дави их, Петька! Голоси дальше!

И началось... Одна за другой полетели частушки, все срамнее и забористее. Вскоре все гости, не исключая жениха, голосили и топотали без стеснения. Только невеста сидела с опрокинутым, безучастным лицом.

Так с той поры и пошло: на субботней ли сходке, на свадьбе ли, подвыпив, заставляли Петьку голосить частушки, что сами собой рождались в его голове — задорные и матерные. Он не только наострился петь, но и плясал легко и весело, выделявая разные коленца. Бабка только изумлялась:

— И какой это бес в тебе сидеть?! Никто в семье нашей таким бесстыдством не занимался. Выродок, ты, Петька, выродок и есть!

Он только ухмылялся и виду не подавал, что бабкины слова ранили его глубоко и непоправимо. Но жизнью своей он был доволен и даже счастлив по-своему.

Девушки постарше стали заговаривать с Петькой, а одна с соседней улицы все приглашала на свиданки да прижималась, упругой грудью, таская его в закоулках. Петька в эти минуты недовольно жмурился и почему-то вспоминал мамкину провисшую грудь, пучок волос меж ее

голых ног, звук комьев земли, падающих на сосновый гроб... Выдирался он из девкиных объятий, бежал куда-нибудь подальше на задворки и неукротимо рыгал. И были эти минуты для него тайной и мучительной горестью. Ибо чувствовал он свою непохожесть и вслед за бабкой считал ее уродством и смертным грехом. А тут еще в последний год привольной Петькиной жизни стал быстро увеличиваться его срам, да волосы появились в мотне и подмышками. Купаясь с ребятами, Петька перестал снимать рубаху. Так и летел с обрыва, словно объятый белым саваном. С бабкой, слабевшей и сдававшей с годами, Петька был ласков, но все больше молчал, да отмахивался от ее рук и слов. Однажды теплым летним вечером попросили соседи вывести коней в ночное. Петька отнекивался, но бабка цыкнула на него:

— Даром, что ли, я тебя кормлю, бугая такого!

И Петька поплелся по пыльной проселочной дороге к конюшне. Взгромоздившись на спокойную шоколадно-черную кобылу, лениво погнал стреноженных коней к мокрому от росы лугу, что лежал у самой воды. Расстелил свой родной мохнатый тулуп и лег на спину. Фиолетовое небо опрокинуло на него свою серебристую чашу. И Петька замер, ловя своей чуткой душой мгновения красоты и ясности. Откуда-то издалека послышался глухой лошадиный топот. Быстро приближаясь, он вдруг замолк, и из чернильной тьмы к Любкиному костерку вышел высокий человек. В отблесках огня разглядел Любка веселую белозубую улыбку, небритое, заросшее щетиной молодое лицо и растрепанные патлы волос, казавшиеся черными, как сама ночная тьма. Человек, не ожидая приглашения, подсел к огню, поворошил его прутиком и весело спросил:

— Ну, в компанию меня примешь, пацан? Зови меня Васькой, Василием, то-есть. Я из М..., — и он назвал недалекое село. — На побывку из армии пришел, на семь ден. Вот потянуло в ночное. А то в избе — душно. Отец храпит, да мать посапывает.

Петьке стало не страшно и почему-то весело с этим неожиданным говоруном. Новый знакомец сходил к своему привязанному неподалеку коню, стреножил его и вернулся с каким-то кульком к костру. В кулке оказался теплый, только что испеченный хлеб, крынка молока, лук и большая зеленая бутылка самогона.

С хрустом надкусывая лук, Петька глядел на большие, заросшие волосом руки Василия, протиравшего насухо чистую кружку и наливавшего в нее соломенно-желтый самогон.

— Хочешь? — протянул он кружку Петьке.

Тот мотнул отрицательно головой.

— Пригуби только, а то одному выпивать — несподручно.

Петька пригубил. И снова как на свадьбе, — мягкая сила скрутила Петькины мышцы, ударила в голову, расслабила волю. Он уже не слушал и не слышал, о чем болтал Василий. И только неотрывно глядел на его мохнатые руки, да заросшую волосом грудь, выпирающую из тесной ветхой рубахи. Непослушные Петькины руки сами потянулись к упрямым темноватым сосцам.

— Ты чего это? — удивленно и почему-то шепотом спросил Василий.

Но Петька — Любка молчал и только одурело тянулся губами к сосцам.

— Ишь как тебя вино разобрало! Точно теленок ласковый.

Василий ворошил Петькины волосы и мягко отталкивал его голову. — Ну будет, будет, а то у меня хер как железный и так. Ишь обслюнявил всего.

Медленно возвращалась воля. Ночь шла к концу и пустела зеленая бутылка у засыпавшего



костра.

— Глянь-ка, — внезапно вскрикнул Василий, указывая на небо у горизонта.

Оно быстро розовело, но не по-утреннему, а как-то страшно неестественно, быстро становясь багровым.

— Горит где-то, — не твое ли село, пацан?

Петька с остановившимися бессмысленными глазами глядел на ясно видимые теперь языки, лизавшие низкие облака. Кончилась беззаботность, неясность — все определилось. Это пришла революция и война в Петькино село. И разметали они всю Петькину дальнейшую жизнь. Куда-то сгнули бабка, братья, сестры. Только труба торчала на месте пожара. Да тихо мяукал котенок, прятанный где-то в погребе. Второе интермеццо

— Микель, Микелино! — юноша, почти мальчик отступает в испуге перед громадной, еще одетой в леса статуей.

Упрямый подбородок, изящно, но не жеманно покоится на плече рука с пращей, выдвинутая вперед нога не скрывает мальчишескую угловатость еще не созревшего тела, и шелковистая кожа, одевает упругие мышцы, готовые взорваться в мощном, броске. Меж балками запутанных, лесов появляется веселое асимметричное лицо, изуродованное перебитым носом.

— Микель, это я? И ты покажешь всем, — даже это и то, что меж ног?

— Ах ты, глупый птенец, — ну, да! ну, да! — я покажу тебя всего и сохраню навечно таким, каким знал тебя и ночью и днем, я сохраню твой запах и твои бедра, твой крепкий зад и вены на ласковых, сильных руках. И самое занятное и веселое во всей этой игре то, что грядущие поколения будут считать тебя образцом мужественности!

Скульптор спрыгивает с хрупких, готовых, обрушится лесов, и ловким обезьяньим движением вскакивает на плечи своей ошарашенной модели. И оба они, мальчишка и умудренный жизнью и интригами муж, весело барахтаются в песке у подножья равнодушно глядящего в бессмертие Давида...

### III

Догорали кострища деревень, голод брел по России, гоня перед собой стада людей. В этом потоке замелькала белокурая Петькина голова. Стиснутый вшивыми телами, голодный, очумевший от окружающего его шума, от разрухи и мелькания человеческих судеб, катится он по теплушкам товарных поездов с единой надеждой зацепиться, найти хоть какое-нибудь пристанище, отогреться, отоспаться... В этом бурливом водовороте зародилась в его голове сумасшедшая мысль: найти пропавшего много лет назад отца. Должна же была быть хоть какая-нибудь цель у его блужданий! И тут вспомнил он, что бабка сказывала; «Говорят, отец-то твой в Москве торговлю какую открыл...» Эти случайные бабкины слова, может, и не сказанные, а приснившиеся ему, стали для Петьки как бы завещанием и руководством.

— Куда ты, паренек, топаешь? — спрашивали его попутчики.

— В Москву, к отцу еду, — уверенно и без запинки отвечал Петька.

— Ааа, — с уважением оглядывали его вопрошавшие.

Скоро он и сам поверил, что где-то в Москве есть у него отец, который ждет его не дожидаясь... Но до Москвы добраться ему не удалось. Где-то в середине дня остановился поезд на полустанке, на подъезде к маленькой станции. А затем услышали втиснутые в теплушки люди странные звуки, точно крупный град забарабанил по крышам вагонов. Внезапно вскрикнул и помертвел старичок, что подкармливал Петьку всю дорогу. А затем ревушая, остервеневшая от страха толпа вынесла его из вагона на горящий перрон, разгромленный очередным налетом то ли белых, то ли красных, то ли зеленых банд.

Городок, где очутился Петька, привык к разрухе, к нищим, к беспризорным, и потому никто не обратил внимание на еще одного горемыку, появившегося на его тихих, заросших кленами и черемухами улицах. Петька присел у какого-то полуразваленного, почерневшего крыльца и впервые за последние четыре дня задремал, разморенный ярким весенним солнцем. Проснулся он от нетерпеливых прикосновений чьей-то требовательной, но не грубой руки.

— Чего вам? — недовольно пробормотал Петька спросонья.

Улица была залита красно-малиновым закатным светом. Лиловые тени расчертили ее в косую линейку. Пахло росой и печеным хлебом.

— Я и говорю: чего ты здесь на улице ночевать устроился? — Веселый низковатый голос принадлежал крупному человеку с резким шрамом, белой змеей вившимся вдоль всей шеи и исчезавшим на остром кадыке. — Вставай, дурачок-белячок! Ночи у нас еще холодные. Идем ко мне, обмоешься, переночуешь, а там видно будет! Может, и приживешься, а если нет — поезда тут частые, поедешь дальше вшей кормить да людей смешить!

И голос, и сами веселые ласковые слова согревали Петьку и вызвали в его душе странное эхо бабкиных слов:

— ... И живеть ведь твой отец гдей-то ...

Как во сне, заворуженно глядя в спину незнакомца, Петька поплелся вслед за ним вдоль быстро темневших домов. Незнакомец назвался Михаилом Петровичем, и Петька начал новую жизнь в фотографии «М.П. Пименова и К?», как значилось на вывеске. Собственно говоря, никакой К? у Михаила Петровича не было. Просто занесло его после окопов и пороха в этот городишко. И вспомнил он свое старое ремесло, «светописателя» — фотографа по-иностранному, ремесло, которому обучился в северных столицах Питере и Москве. И стал Михаил Петрович неотделимой частью городского бытия. Свадьбы ли, похороны ли, помолвка или день Ангела, — как же обойтись без карточки, без «патрета» для украшения стен и поставцов на комод. В студии Мишки-фотографа, как его полупрезрительно называли обыватели (свободная профессия всегда презирается ими), висели по стенам приятнейшие для глаза пейзажи: «грецкие» развалины, вазы на постаментах, ядовито-зеленые озера с лебедями, беседки и уходящие вдаль аллеи пальм. Для любителей бравых поз на деревянном чурбане покоилось хорошее казачье седло. Для детишек же были припасены огромные, в рост двухлетнего ребенка, куклы и медведи.

Приведя Петьку в свое незамысловатое жильё, Михаил Петрович весело захопотал, быстро растопил печь, согрел бачок воды и повел Петьку мыться в баню, что по местному обычаю уютилась на краю огорода неподалеку от дощатого нужника.

В полумраке предбанника Петька подавленно молчал и озирался, ошеломленный небывалой суетой вокруг его личности. Михаил Петрович заставил его раздеться, разделся сам и стал парить и растирать Петькино тело, задубевшее от грязи, холода и ветра. Одежда его была безжалостно сожжена в ярко пылавшей печке. И длинная рубаха Михаила Петровича была приготовлена и лежала на сухой широкой скамье. В сумраке, освещаемый лишь светом потрескивающей лучины, Петька смущенно отворачивался и прикрывался руками.

— Ну, чего ты, — прикрикнул на него Михаил Петрович. — Чай, мужик я! Ишь ты, какой нежный да свежий. Только вот ребра торчат, да сала на жопе маловато...

Большой, по звериному волосатый, он вертел и шлепал Петькино тело точно мячик, оттирая его от грязи и насекомых. Петька вздрагивал от незнакомых, ласково-грубых прикосновений, вызывавших в памяти недалекое мирное прошлое: бабкины сильные руки, натиравшие его маслом, теплый вечер и далекое ржание коней, темный взгляд и грудь, упрямо выпирающую из белой рубахи. И потому Петька задубел в своем смущении, чувствуя как его срам тяжелеет и наливаются кровью. Потом они долго, неторопливо пили чай на кухне. Петька прихлебывал горячую жидкость, ощущая, как струйки пота бегут вдоль по хребту. Свет керосиновой лампы делал его лицо еще более молодым и нежным.

— Ты у меня как девушка юная, — шумно хохотал Михаил Петрович, но глаза его были серьезными и напряженными. И взгляды пристальные из-под густых рыжих бровей будоражили и тревожили Петьку. — Ну, идем спать-ночевать, красна девица! Ложись в большой комнате на диване. Вот тебе подушка да простынка, а вот одеяла второго я не припас. Шинелью укроешься, хоть и старая, но теплая — всю войну в ней прошлепал. Отдыхай, а утром работать начнешь!

Ночью Петька проснулся от какого-то движения или, вернее, вибрации воздуха. Темная тень склонилась над ним и большая рука гладила и ласкала его щеку. Петька повернул голову и прижался губами к грубой, пахнущей химикалиями коже.

— Спи, спи, дурачок, блондинчик, — прошептал густой голос.

И Петька испытал сильнейшее желание принадлежать этой силе, этому шепоту, этому терпкому мужскому запаху...

Михаил Петрович обучил Петьку орудовать немудреной аппаратурой, как он торжественно называл софиты и простыни. Петька должен был налаживать свет, усаживать клиентов и даже «наводить фокус». Но большую часть времени он проводил в проявочной. Освещенный адским, красным светом, словно загипнотизированный, смотрел он в прозрачно-черную глубину ванны, где совершалось волшебство: на белой бумаге появлялось бледное, быстро темневшее изображение. Оно выплывало из водных глубин, становилось объемным, оживало, улыбалось или хмурилось, становясь частью Петькиного мира. И он стал жить в этом мире глаз, губ, щек, морщин. Стал придумывать для них истории, сентиментальные, душещипательные. Отогретый, откормившийся, Петька оказался сочинителем и фантазером, занимавшим своими историями Михаила Петровича, который быстро привык к Петькиной говорливости и терпеливо отвечал на его расспросы о Питере, о войне. Вечерами Михаил Петрович обучал Петьку грамоте и счету.

— Без грамоты ты, Петька, нуль, не человек, — говаривал он, слушая, как Петька бубнит по складам очередной урок. У Михаила Петровича была только одна книжка, которая и служила Петьке азбукой: большой, потрепанный, без многих страниц, первый том толстовской «Войны и мира» с ятями и твердыми знаками, в золотом тисненном переплете. Книжка так интересовала Петьку, что он часто, не дожидаясь следующего урока, пытался читать по складам сам, и удивлял Михаила Петровича смышленностью и быстротой ума.

— А ты умный, Петька, — говорил с некоторым удивлением Михаил Петрович.

Мишка-фотограф, хоть и был заметным лицом в городе, но жил тихо, неприметно. И, что более всего удивляло Петьку, не интересовался женщинами. Петькины подспудные, невысказанные желания толкали его на притворно наивные, но с явным умыслом вопросы:

— И чего ты такой здоровый, — спрашивал Петька, — а не е... ся? Мне бы твои стати, я бы ух как...

Морща в улыбке губы, Михаил Петрович отвечал:

— Да я-то столько их видел, что от одного запаха теперь мутит, а вот ты на удивление — молодой, пряткий, а насчет женского пола — слаб. С чего бы это, Петька?

Петька, пойманный прямым вопросом, живо уходил от ответа:

— Я в этом деле — зеленый, а вы не обучили.

Или отмалчивался, пристально глядя в глаза Михаилу Петровичу, но правду, вертевшуюся на языке, вымолвить боялся. В бане Мишка-фотограф шлепал Петьку по отъевшемуся заду и приговаривал, как бы шутя:

— И зачем мне баба, когда тут такая Любовь Петровна вертится!

Петька только довольно похмыкивал.

Клиенты быстро привыкли и более того полюбили остроглазого и быстрого на затейливые присказки паренька. Девицы являлись в фотографию расфранченными, с вышитыми платками на плечах, в белых чулках и лакированных туфлях. Толстые, туго заплетенные косы украшали и без того налитые груди. Девицы долго перешептывались и прихорашивались в специальном закутке и затем выплывали оттуда напряженно серьезные, сияя наведенным свеклой румянцем. Петька обожал усаживать их перед камерой. И откуда у деревенского парнишки взялась эта кокетливая щепотная манера? Он принимал вычурные «дамские» позы, которые подглядел в старом модном журнале, прихваченном Михаилом Петровичем из Питера.

— А таперича мы вас изобразим, когда вы своему суженому уже в любви не откажете!

Или другая его любимая присказка:

— Мы вас как Сарру Бернару зафиксируем, когда вы вся печальная и нежная дружка ожидаете.

Он опирал голову о томно сложенную лодочкой ладонь и замирал перед оторопевшей девицей, с трудом понимавшей все эти словесности, однако, всем своим видом выражавшей испуганное благоговение перед бездной образованности и хороших манер.

— А ну, молодой и красивый, — грудь колесом, и руку за лацкан вставьте. Усы у вас, между прочим, сильно топорщатся, а я их маслицем смажу, так что они на фотке, как глянцевые выйдут.

Словом, клиенты любили ходить к «Мишке и Петьке — фотку изобразить». Но разруха катилась тяжелым бревном по раздираемой страстями России, и дела у Мишки-фотографа шли не ахти как, несмотря на городскую популярность Петькиных галантных манер.

Однажды воскресным днем, возвратившись откуда-то изрядно навеселе, Михаил Петрович бросил Петьке, как нечто неважное:

— Приготовь все в большой комнате: свет, камеру — сейчас клиенты будут.

— Так воскресный же день, и вы (Петька по деревенскому не мог называть старшего на ты) гулять обещались.

— После, после погуляем вместе, новую фильму пойдем глядеть.

Вскоре появились клиенты плотно сбита бабенка, одетая по-городскому, нафиксатуаренная

и напудренная, и с ней усатый мужчина лет 40–45 с тяжелым подбородком и синеватыми мешками под глубоко запавшими глазами. Мужчина почему-то был с велосипедом, который он пристроил в углу фото-студии. Петька быстро разглядел, что Михаил Петрович скрывает явное смущение за приветливой суетой и весельем.

— Ну садитесь, садитесь, гости дорогие, да не рассаживайтесь, давайте дело делать!

Откуда-то выпорхнула бутылка водки, запечатанная красным сургучом.

— Из самого Питера привез, — пробормотал удивительно высоким голосом мужчина.

Петька даже вздрогнул, так не вязался суровый мужичий вид с тонким фальцетным тенорком. Распечатали бутылку. Петьку послали за стаканами и огурцами. Появилась и буханка черного, тяжелого хлеба. Выпили, закусили, закашляли и шумно задышали. Но рассиживаться, действительно, не стали. Девушка деловито расстегнула блузку, сняла через голову узкую юбку и оказалась в чем мать родила: только носки белые в черных туфельках на ногах. Петька разевал в растерянности рот и дышать забывал. Михаил Петрович уснул его зачем-то в темную комнату. Когда он вернулся, девушка возлежала на фоне одной из декораций, широко разведя ноги и, чуть улыбаясь. И началась съемка... Девушка была зафиксирована и спереди, и сзади, и сбоку. Петька менял задники. Так что телеса дамочки были запечатлены на фоне «грецких» развалин, в пальмовой роще, на берегу ядовито-зеленого озера и крутошеих лебедей. А затем произошло то, что отложило печать на всю последующую судьбу Петьки. Мужчина вышел из-за занавески, где обычно прихорашивались клиенты перед съемкой, и было на нем ...ничего, если не считать блестящих штиблет и носков на резинке. Он подошел к возлежащей девушке, присел перед ней на корточки, погладил по довольно дряблой груди. И Петька увидел, как член у мужчины шевельнулся и затем, налившись кровью превратился в толстый мощный ствол. В студии запахло острым потом. Девушка раздвинула ляжки и мужчина ввел свое орудие наполовину.

— Ну, чего уставился? — бурчал недовольно Михаил Петрович. — Снимать надо!

Девушка становилась на четвереньки, поворачивалась на правый, на левый бок, садилась верхом, мощный ствол мужчины проникал в нее и останавливался где-то на половине, словно встречая преграду. У Петьки все слилось в одну серую пелену, только обвитый змеистыми венами член был осью, вокруг которой вращалась странная снопоподобная действительность. Мужчина и девушка дважды прикладывались к бутылке. Не отставал и Михаил Петрович, но Петька отказывался. Девушка между тем взгромоздилась на велосипед и сложила губки сердечком. Мужчина приблизился к ней, и Петька впервые увидел «минет». Красные губы девушки охватывали плотным кольцом мужскую плоть, вбирая ее все глубже. Петьку замутило неукротимо. Он выбежал из студии, едва не повалив треногу фотоаппарата. Когда он вернулся со двора, отдышавшись на холоду, дамочка и мужчина одетые прощались с Михаилом Петровичем. Петька заметил, Михаил дал сколько-то денег мужчине.

— Ну иди, иди сюда, красна девушка! Ишь, как засмущали тебя. Впервой всегда так, страшно и мутит. Привыкнешь, так нипочем будет. Ну, давай я сам все проявлю, а ты гулять отправляйся! Дело, Петька, обычное — война — разруха, да революция эта е...ная. А дело — стоит. Вот напечатаем побольше этой ебли, да в Питер отправим. Я тут одного человечка подговорил. Не даром, конечно, но мы в убытке не будем. Ну, иди дыши воздухом, да вытряхивай все из головы.

Петька повел плечами и с трудом выдохнул:

— Да неохота мне одному. Я лучше помогать вам буду.

Ну и лады. Идем в проявочную, блондинчик-дурачок!

В темной, наполненной красным сумраком комнате Петька снова ощутил непонятное волнение, как в давешнюю первую ночь, когда проснулся от прикосновения теплой руки Михаила. Теперь они оба стояли над темным раствором и смотрели, как в его таинственной глубине появляются срамные изображения: черный лобок девицы, мощный, обвитый точно кореньями ствол мужчины» Петька почувствовал, как его собственный прибор начал шевелиться в мотне штанов Он слышал, что и Михаил Петрович задышал шумно и возбужденно. Краем глаза Петька видел, что его хозяин слепо уставился взглядом в одну точку, явно не видя, что там происходит. И в то же время рука Михаила Петровича как бы невзначай легла на Петькины ждущие плечи. От этого прикосновения Петьку стала бить крупная неуправляемая дрожь. Глаза его затянула мутная пелена.

— Не бойся, дурачок, меня, я ведь с первого взгляда к тебе с любовью...

А руки его торопливо и жадно шарили в Петькиных брюках и расстегивали ворот рубахи. Затем Петька почувствовал, что его поднимают и несут сильные руки, и крупный, полный запахом хмеля рот прижимается к его рту.

В жаркой темноте Петька обливался потом, колени его были полны желанной слабостью и дрожью. Подмятый тяжестью мускулистого тела, он извивался, ловя ртом воздух. Вдруг острая проникающая боль взрезала его тело, и он отчаянно закричал. Но крик получился коротким. Рот его был зажат губами Михаила Петровича, и он, не помня себя, кусал эти мягкие, пропахшие водкой куски мяса. А потом столь же острая как боль пронизывающая волна радости охватила его тело, и он застонал, слабея и отдаваясь этой волне, чувствуя на языке соленую липкую кровь. Дальше он уже ничего не помнил. Очнулся Петька от густого храпа Михаила Петровича, притиснутый к стене его голым боком. Лежал он в темноте и, не зная сам почему, тосковал и печалился. Михаил Петрович вздохнул, прекратил храпеть, повернулся к нему лицом и, приоткрыв набухшие со сна веки, улыбнулся:

— Вот мы и поженились, Любовь Петровна! Ишь ты, как меня искушал, но за дело, я не в обиде.

И он нежно прикоснулся губами к Петькиной щеке. И это прикосновение открыло в Петькиной душе какую-то невидимую преграду, развязало путы, и неуправляемые жаркие слезы потекли из Петькиных глаз. Он прижался мокрым лицом к теплой волосатой груди Михаила Петровича и замер, сотрясаемый рыданиями.

— Ничего, ничего, — бормотал Михаил Петрович. — Мы с тобой всю жизнь будем заодно, вместе. Как в Писании сказано: муж — жена — одна плоть.

И Петька принял эти слова с полным серьезом и верой День за днем потекла его новая жизнь. Вскоре он уже не мыслил и не представлял себе, что может жить один без Михаила Петровича, без его сильного мускулистого тела, без ночных бесстыдных ласк, без прозвища «Любовь Петровна», без всей этой веселой суеты полуремесленников — полухудожников, которую они вели в этом тихом, забытом временем углу России...

Шелестел осенний дождь за мутными стеклами окон. На мокром крыльце метались ржавые листья. Вечерело. Петька заканчивал свою обычную работу: раскладывал по ящикам готовые фотографии, развешивал еще мокрые негативы и отпечатки. Михаил (мой мужик, как называл его теперь про себя Петька) возился на кухне, готовя немудреную снедь: картошку и щи. Внезапно загремели тяжелые шаги на крыльце, кто-то по-хозяйски, не стучась, распахнул входную дверь. Упало неловко задетое ведро в сенях, и вода забулькала, потекла по скрипучим половицам в погреб. Петька услышал матерящегося Михаила Петровича, а затем странное молчание воцарилось в сенях. Выглянув из темной каморки, Петька увидел, как двое в кожаных куртках и портупеях стоят перед мертвенно-бледным Михаилом Петровичем. Не более нескольких секунд длилась эта пауза, а затем клубок сильных тел покатился по

полу, и ничего не соображающий от страха и неожиданности Петька опомнился только, когда двое поволокли беспамятного Михаила Петровича к выходу. Голова его черно-кудрявая безжизненно пересчитывала пороги и ступеньки. Петька выскочил из темной комнаты, ухватился за одного из кожано-портупейных комиссаров:

— Дяденьки, за что вы его, куда же вы его...?!

Продолжая тащить Михаила Петровича к выходу на дождливо-осеннее крыльцо, один из чекистов отшвырнул Петьку, точно котенка, и захлопнул перед ним дверь. Бросившись к окну, он увидел, как двухколесная таратайка увозит беспамятного, а, может, и мертвого Михаила Петровича в осеннюю слякоть и туман. Петька долго стоял, не шевелясь, посреди опустевшей фото-студии. Тупо глядел на лебедей и колонны, на серые стены, служившие фоном, на нелепую одинокую треногу фотоаппарата. И вдруг завыл, запричитал по-бабьему:

— Миша, Мишенька мой, как же я теперь одна буду. И куда же они, ироды, увели тебя, любовь моя ненаглядная, единственный мой... Господи, да как же это я теперь одна без него буду!?

Слова деревенские, древние, впечатанные в память с детства лились как песня с пересохших Петькиных губ. Впервые он называл себя и считал себя женщиной и всем своим существом, всей своей плотью и душой ощущал невозвратимость потери. Сидя на полу, распатланный и чумазый, он не обращал внимания на слезы и царапины, руки его механически рвали рубаху, и он выл и причитал точно по покойнику. Все страхи, все сомнения и боль сливались в этом вое. Растворялся, уходил в небытие Петька, деревенский балагур и частушечник, и оставалась лишь — Любка, тоскующая женщина, потерявшая мужа и любовника.

Долго сидел он на полу в наступающей темноте, то затихая, то снова начиная погребальный плач. Глубокой ночью он, наконец, поднялся, зажег лампу, обмыл глаза и лицо холодной водой, что стояла в большой бочке, припасенная для субботней бани. Медленно, мыкаясь из угла в угол, стал собирать вещи. Сложил и запер в комод фотоаппарат, накрыл серыми простынями кушетку. Долго перебирал холщевые рубашки и поношенные порты Михаила Петровича. Взял одну, поновее — на память. Собрал небольшой заплечный мешок со своими пожитками, положил туда остатки мятых рублей, что хранились в секретном месте, за большим зеркалом, и перекрестил все углы обезлюдившего дома Серым, осенним утром, крадучись, выбрался из дома и заспешил на окраину еще спавшего городка. Оглянулся в последний раз на голые, печально-черные от дождя деревья, закрытые ставнями окна и решительно направился к железной дороге. Просвистел товарный поезд, медленно ползущий под моросившим дождем. Любка прицепился к последней, пустой и скрипучей платформе. И началась следующая часть его беспокойной жизни. Уплыл из виду, уплыл из памяти маленький городок, где Любка был единственный раз в своей жизни счастлив...

#### IV

Гудел Казанский вокзал. Любка раззявился на замысловатые башенки и цветные стекла. Такой красоты он еще не видел. Вокруг топотала и спешила столичная жизнь. Цокали копыта потрепанных рысаков, разносчики в цветных рубахах истошными голосами предлагали бублики и пирожки. Ковыляли слепые, припадочные, безногие и безрукие инвалиды. Скрипели телеги, груженные снедью для московских нэповских рынков. Любка совсем растерялся в кипящей толпе. Он и вздохнуть не успел, как чьи-то ловкие руки срезали его заплечный мешок с провизией и немногочисленными пожитками. Любка кинулся за удирающим пацаном. Да, куда там — верткий оборвыш скрылся в густо снующем люде. И Любка побрел вдоль сверкающих стекол Садового кольца, в голове его было гулко, глотка

пересохла, а глаза устали от тьмы незнакомого, равнодушного и спешащего неведь куда народа. Долго он крутился по Кольцу, а к ночи снова прибило его к той же Вокзальной площади. Осенний вечер опустился на темнеющий город. Веселая заря мазнула оранжевыми бликами вычурные башенки вокзала, а у его подножья уже было темновато и серовато-синие тени выползли из затейливых закоулков, ожидая ночного часа.

Голод сводил Любкин желудок не на шутку, и его начало мутить. Он пристроился к блинному ларьку и долго смотрел, как уписывают люди блины. Вон один мужик — десяток, наверно, сжевал ... Баба в цветастом платке подкатила к ларьку на извозчике. Видно с рынка, после продажи. Задрала подол и откуда-то, чуть не из срамного места, достала измятые рубли и щепотно стала наворачивать блин за блином.

— Ты чего глядишь, жрать небось хочешь? — Голос раздался над самым Любкиным ухом, и он даже вздрогнул от неожиданности:

— Ишь ты какой нервный, да нежный с виду. Мы сейчас это устроим.

Голос принадлежал молодому пареньку, на вид Любкиному ровеснику, одетому чисто, но с какой-то размашистой небрежностью.

— Из деревни? Плясать, голосить частушки можешь?

Любка обалдело кивнул утвердительно.

— Ну иди поближе к ларьку, да начинай петь и плясать, да хорошо делай, раззява!

Любка от неожиданности и повелительности тона не заметил даже, что его матерят и ругают. Послушно, привык за годы с Михаилом Петровичем быть в подчинении, побрел к ларьку и остановился перед бабой, что все клевала свои блины. И вдруг топнул ногой, топнул другой и, подбоченясь, пошел по кругу выписывать кренделя, да выделывать коленца, как на деревенских свадьбах. Вокруг собрались любопытные зеваки. Толпа обступила подпевающего самому себе Любку и начала дружно шлепать в ладоши:

— Давай, давай, пацан, хорошо делаешь, по-нашему!

Любку слова эти и хлопки еще больше раззадорили. Он внезапно остановился и завопил во весь голос на деревенский манер — горловым — белым звуком:

Не целуй меня взасос — я не Богородица. От меня Исус Христос — все равно не родится!

Толпа раскололась визгливым смехом. Баба поперхнулась блином и зачертыхалась:

— Похабник-Антихрист, чтоб тебе язык на том свете выжгло!

А Любка, подстегиваемый улюлюкавшей толпой, выбил коленце и продолжал:

— Засолил капусту милка, — да забыл укропу, перепутал, где п ... да, — засадил мне в ж...пу!

Толпа забулькала, захохала, закашляла. Внезапно баба прекратила чертыхаться, схватилась за подол и завопила:

— Ограбил, сволочь, держите его, держите, люди добрые! Что же это, а?! Кошелек срезал!

Толпа заворчала, завертелась, в ее гуще пошли водовороты Любку уже не слушали, глядели куда-то в сторону, вслед порхнувшему Любкиному знакомому, да бежавшей за ним вприпрыжку бабе, бросившей недоеденный блин на грязную, затоптанную мостовую. Часто



дышавший пахан, потерявший где-то свой картуз, вынырнул перед Любкой, точно соткался из ночного воздуха, схватил его за руку и потащил в глухую черную тень, в глубины незнакомых переулков на вокзальных задворках, облюбованных таинственными незнакомцами, появлявшимися к вечеру и так же внезапно исчезающими еще до рассвета. Хозяин дома, небритый, в трусах, но в валенках на босу ногу, встретил новичка вопросом:

— Как звать?

Петька, не зная сам почему, не задумываясь, ответил:

— Любкой меня кличут!

— Ишь ты — смелый. Пидорас, что ли?

Любка, не понявший вопроса, на всякий случай ответил:

— Женщина я ...

— Ну ладно, ладно, разберемся, кто ты есть ... Стирать, варить, можешь?

— Самое простое — картошку, щи, кашу.

— Сойдет. К вечеру приготовь человек на десять. Воры у меня разные — пацаны да мужики. Тертые, битые, крученные. Не очень показывай себя. Женщина, говоришь? Найдешь полюбовника — твое дело, но запомни: лягавых не жалеют. Рано ли поздно, в зоне будешь: на работу не выходи, повязок красных не носи, с ментами не кобелись, но и не подъебывай. Помни, ты — вор в законе! Пацаны соберутся к вечеру, тогда и решим, куда тебя определить. Ишь, морда у тебя ничего, смазливая, одеть, так и вправду за девку сойдешь!

Любка согласно кивал головой, вполовину понимая речь мужика в валенках.

К вечеру, действительно, к столу, накрытому белой скатертью, собрались «пацаны». Большинство потрепанные временем, войной, тюремными ходками и отсидками. Но среди изъеденных морщинами и запятнанных проседью бород мелькали и молодые лица. Ели обильно, еще обильнее выпивали, но компания была молчаливой. «Солидные» — как их определил для себя Любка. Внимательно, не перебивая, выслушали Любкину историю. Белокурый, верткий парень, что привел Любку в малину, носивший странное имя: «Щука», то и дело вскидывал на Любку смешливые глаза и подмигивал ему заговорщицки. Наконец, хозяин малины, еще более грузный за столом, отодвинул стул, подошел к плотно занавешенному окну и проговорил:

— Вот и женщину заимели мы в малине.

Кто-то за столом коротко хохотнул.

— Я и говорю — пидорас он, но свой человек. Без нужды — не донимайте Любку, не он в ответе, что тело у него мужское, а душа — женская Ты — хохотун — завтра пойдешь с Любкой на дело!!

— Да зеленый он, она, то-есть, — запутался говоривший.

— И ничего, что зеленый Ты и поможешь и просветишь, чтобы почернел, да созрел...

— Вася — я же и говорю — завалит он нас, в штаны наладет и завалит!

— Я тебе не Вася, а Василий Семенович! Или «Черный»! Понял! И без трепотни! О деле поговорим позже, меж трех...

Белокурый только кивал в знак согласия. Хозяин поманил Любку и вместе с ним и белокурый выкатился в соседнюю маленькую комнатку. Закрыв плотно двери, «Черный» присел на широкую постель и, глядя на моргающую, подслеповатую лампадку под угловой иконой, сказал:

— Теперь о деле всерьез. Ты, «Седой», место знаешь. Оно — хорошее и наживное, но трудное. Мы туда сначала Любку запустим...

На следующий день у московского Торгсина, учреждения, где новые власти скупали золото и драгоценности в обмен на жратву, появилась молодая парочка: Любка — в платочке, в новом цветастом ситцевом платье и туфлях на высоком каблуке, и с ней давешний белокурый «пацан» в черной «тройке» и огромной, надвинутой на брови кепке. Выглядела Любка вполне соблазнительно и даже вызывающе приятно. Мужики косились, а прохожие женского полу и среднего вида — осуждающе поджимали губы и покачивали головами. Никогда еще Любка не чувствовал себя так свободно и непринужденно. Платье туго обтягивало его довольно увесистый зад, бедра сами просились и пританцовывали, а высокие каблуки придавали походке упругость и легкость. Взгляды мужчин вызывали у Любки приятный озноб и придавали особую оживленность и кокетливость его собственным взглядам и улыбкам. Давешний хохотун — «Седой» сначала стеснялся своей роли, но затем обвык и даже стал заигрывать с Любкой.

— Ишь ты, и впрямь — девка, зад так сам и просится.

Любка помалкивал, и только глаза его обжигающе посверкивали. «Седой», осмелев, взял Любку под руку, продев свою кренделем. Со стороны глянешь — полюбовная парочка, а то и молодожены. Подойдя к Торгсину, парочка расцепилась, и Седой быстро затерялся в густой толпе. Любка же впорхнул по каменным ступеням внутрь здания, где был остановлен строгого вида дежурным, с револьвером на боку.

— В какой отдел, гражданка? Инвалюты или приема ценностей?

— Да нет же, товарищ, — прощепетал Любка. — Я в отдел кадров, по объявлению. Вот!

И, покопавшись в сумочке, висевшей на локте, Любка достал сложенную, недельной давности «Вечорку». В рамочке на последней странице значилось: «Торгсину требуются разнорабочие, кассиры и уборщица в ночную смену. Сверхурочные не оплачиваются. Одиноким предоставляется общежитие.»

...Туго подпоясанный, кожано-скрипучий человек смотрел на розовощекого, волнующегося Любку внимательно и, казалось, очень приветливо. Любка, быстро улавливающий подсознательные флюиды, сообразил, что его женственные очертания и кокетливо повязанная косынка пленили сурового кадровика.

— Я вот что тебе скажу, Трифонова, — ты по документам из нашего, трудящегося народа (документы были туфтовые — малина сварганила), начинай с низового поста, но мы тебя в секретарши продвинем!

— Так я же малограмотная, ни читать, ни писать, — залепетал Любка, стараясь перебороть свой ломкий, но явно мужской тенорок.

— Тебя продуло, что ли, голос у тебя хриплый? Не зашибаешь, часом?

— Да нет же — это я в поезде простуду подхватила, — закукарекал Любка.

— Я тебя, Трифонова, сегодняшним днем проведу по документам, а ты в ночь выходи, а то у нас мусора за три недели насобиралось по всем углам.

Кадровик вытащил какие-то серые листы и начал их заполнять вдоль и поперек, изредка спрашивая Любку:

— Ты девица, али женщина?

— Это в каком смысле? — оторопел Любка.

— Да я тебя не для смеху, а для статистики спрашиваю! Сверху разнаряд прислали на статистику. Мы ведь для порядку все знать должны, как мы есть рабочая и крестьянская власть.

И кадровик строго взглянул на ухмыляющегося Любку.

— Женщина я, — прошептал он, опутив глаза.

— Ну хорошо, ну ладно — не в етом дело! Иди в комендатуру с этим пропуском. Да не потеряй его! Ключи получишь, и чтоб в десять вечера приступила к работе.

Кадровик снова стал официально-подтянутым и серо-скучным.

Поздним вечером того же дня редкие прохожие могли заметить миловидную девицу, входящую в Торгсин и важно предъявляющую постовому свой документ. Покачивая бедрами и кокетливо улыбаясь, Любка заскользил по длинному коридору. Каблуки его новых туфель гулко постукивали о паркет. Пахло мышами и прогорклым сыром. Вытащив из кладовки ведра, тряпки и веники, Любка прошествовал мимо часового по первому этажу, всем своим видом изображая деловитую торопливость. Постовой добродушно улыбался и был явно непрочь поконтактировать. Но Любка опасался своего прокуренного голоса и потому, крутанув задом, исчез в одной из боковых комнат. В каком-то кабинете старинный часовой механизм пробил двенадцать. Стало еще тише и безлюднее на московских, затянутых синей осенней мглой улицах. Изредка Любка слышал цокание копыт и шелестение шин по асфальту. Через второй этаж Любка вернулся в свою каморку и тихо, стараясь не шуметь, отпер шпингалеты узкого, годами не протиравшегося окна. Нижняя заржавевшая защелка долго не хотела открываться, и Любка даже палец окровавил. Наконец, рама с противным скрипом отворилась, и в узком проеме окна показалось напряженно-бледное лицо Седого. Не без труда и с помощью сильных рук Любки, Седой протиснулся в каморку. Безмолвно указав Любке на дверь, Седой устроился на шаткой табуретке. Любка же опять, загрохотав ведрами, просеменил по коридору мимо часового, как бы торопясь закончить уборку. Взобравшись по лестнице на третий этаж, он заспешил к комнате под номером 7. «Вход посторонним строго воспрещен» — гласил плакат на облупленной двери. Любка завозился в связке ключей, нашел, наконец, подходящий жетон и осторожно открыл дверь. Комната была очень просторной, и ее белые стены нестерпимо сверкали, освещенные огромными голыми лампами без абажуров. По стенам комнаты теснились сейфы. Они были разными: огромными и совсем маленькими; они были рыжими и зелеными, красными и черными. Некоторые были снабжены огромными колесами, другие были полировано-гладкими. Словом, это было царство сейфов, безмолвно и вопросительно глядевших своими дверями на Любку. Его чуткий и нервный слух внезапно услышал далекий приближающийся шум. Кто-то осторожно крался по пустому коридору. Когда в приотворенную дверь глянуло кирпично-красное от сдерживаемого смеха лицо постового, он смог увидеть лишь стоящего на коленях Любку, прилежно трущего половицы влажной тряпкой.

— И как вы ето, гражданка, проникли сюды, в особо-охраняемый объект? — шутливо грозно забасил часовой.

Любка жеманно дернул плечами и продолжал орудовать тряпкой.

— Давно из деревни-то? — спросил часовой. И, не ожидая ответа, продолжил: — шибко

скучаю я тут. Воздух гнилой, прогорклый, людишки — мелкие, денежные. Знаешь, что в сундуках железных этих? Алмазы да золото. Все от старорежимной жизни, что награбили. Для музеев, говорят. Стоишь тут, киснешь задарма, а тут такое богатство. Ты, Трифонова, подальше от этой комнаты. Чисть, мой, да сматывайся, а то, если что случится, обоим на вышке быть!

Часовой подошел сзади к Любке и похлопал его по сухой мальчишеской спине.

— Ишь ты какая сухопарая — откормить тебя, так я от женитьбы не откажуся!

Внутри у Любки все ныло от мучительного страха. Он думал о Седом, сидящем в камере и ждущем сигнала. Часовой меж тем стал настойчивее в своих похлопываниях, и Любка ощутил, что его рука пробирается все ниже и ниже. Любка внезапно толкнул ведро, и оно с шумом опрокинулось, заливая грязной водой паркетный пол.

— Ах ты, охальник проклятый! — заверещал Любка. — Отцепись от меня, пока я тряпку о твою морду не извозила!

Часовой испуганно вертел головой и смущенно бормотал:

— Ну чего ты расшумелась, я так, в шутку, по-деревенски, а ты всерьез.

Пятясь и стараясь не ступать сапогами в грязную лужу, он выкатился в коридор и затопал вдоль него к лестнице. Любка же, выскользнув из комнаты № 7, порхнул по другой лестнице, влетел в камеру и беззвучно поманил Седого. Тот неторопливо поднялся с табуретки, погасил о подошву сигарку и также бесшумно как Любка заскользил по коридору. Было слышно, как у парадного входа часовой гулко кашляет, стучит прикладом винтовки и что-то неразборчиво бормочет.

В комнате № 7 Седой долго, как казалось Любке, чересчур долго, оглядывал сейфы, поглаживал их двери и полированные огромные колеса. Наконец, он вытащил из внутреннего кармана связку отмычек и начал осторожно возиться у одного из самых больших сейфов. Любка заворожено глядел, как ловкие, тренированные руки проделывают сложные, непонятные движения. Снова пробили часы в отдаленном кабинете. Ворота рубахи Седого потемнел от пота. Послышался чуть слышный щелчок, и массивная дверь сейфа стала плавно отворяться. Вдруг в эту мертвую тишину ворвался новый тревожный звук: где-то внизу вопила сирена.

— У, блядь, засигналила, — прошипел Седой.

Вдали послышались звуки топочущих, спешащих шагов. Седой метнулся к двери, и Любка увидел странную и тошнотворно-страшную картину. Часовой влетел в приоткрытую дверь, запыхавшись, широко открыв рот, он пытался что-то сказать, крикнуть, но быстрая рука Седого встретила его грудь. И рот часового открылся еще шире в беззвучном крике. Его большое тело как-то обмякло, навалившись на грудь Седого, а затем медленно сползло на пол.

— Ну чего ты, е... на мать, стоишь — давай тару!

Любка механически подал Седому небольшой медицинского вида саквояж. Седой, открыв сейф, быстро стал выгребать и запихивать в саквояж какие-то коробочки и мешочки. Любка тупо смотрел на умиротворенное лицо часового. На его защитного цвета гимнастерке быстро расплывалось бурое пятно.

— Ну ты, пидор, с...ный, помогай, что ли!

Любка опомнился и стал лихорадочно нагружать саквояж какими-то блестящими камешками и

цепочками. Через полчаса тишина воцарилась в Торгсине. В комнате № 7 коченело тело часового, и у его соломенно-желтой шевелюры, безжизненно распластавшейся на влажном паркете, сверкал забытый впопыхах рубиново-красный камень.

V

Так началась Любкина воровская жизнь. И он быстро приспособился к ней. Было вольготно и привольно без мыслей о завтрашнем дне, без тяжелого каждодневного труда, без этого гула одинаковых мыслей и дел, исподволь превращавших одну шестую земного шара в гигантский концентрационный лагерь.

— Эх, Любка, — любил говаривать хозяин дома, Черный или Тятя, как его часто теперь величал Любка. — Ну что бы ты была без нас? Крестьянка, колхозница — в лучшем случае. Но я думаю, что у бабки твоей своя корова была, да лошаденка. Так ведь? А это значит — кулачка она, да и ты вместе с нею. И не сгни твоё село, выслали бы тебя «товарищи» в Сибирь или в Казахстан на голодный паек, а то и прикончили бы на месте со всеми твоими родственниками. Я ведь, Петя, ну, ну ладно, Люба, — я ведь тоже труд люблю да оседлую жизнь, без крови и грязи этой. Но труд-то свободным должен быть. А ты гляди — честные фраера вкалывают, а кому весь навар достаётся? Новой банде, что себя коммунистами называет. Старая власть была — что пиявки, пососут кровь да отвалятся. А новые — что удав ненасытный чем больше ему даешь, тем больше он силы набирает и тем туже тебя давит ... Ты, Любка, в лагере будешь, так сам поймешь, что к чему. А пока радуйся, что ты на этой греховной стезе, с ворами, ибо любой открытый грех — лучше, чем кровопийство, прикрытое законами и людской трусостью!

И Любка слушал, но не принимал эти слова близко к сердцу ибо еще не было у него своего, нажитого тюрьмой опыта. После ночных рейдов и «операций» Любка долго отсыпался, нежась на широкой, чистой постели. Домашнюю работу его уже не заставляли делать. Черный готовил и убирался в доме сам.

— Ты, Любка, наша женщина-полюбовница. Тебя хранить и беречь надобно. Какая из тебя наводчица, ежели ты после кухни выйдешь на дело мятая, потная да с черными ногтями? Ты уж все эти женские штуки-то употребляй: одеколоны да духи, чтоб для мужиков быть сладкой, да приятной.

И Любка старался следовать этим поучениям, тем более, что они были ему по душе. Только две занозы сидели в его памяти: не мог он забыть своего первого «мужа» — Михаила Петровича, да «мокрые дела» пугали его и вызывали неукротимую рвоту.

— Ты, Любка, все ж таки не настоящая воровка: и чего ты рыгаешь, когда кровь течет? — говаривал Черный.

— Не могу я глядеть, как человека убивают — ведь больно и страшно ему, а мне муторно и тяжко: ведь душу, душу насильно мы отнимаем!

— А ты думай как я — не человек это, а зверь, кровопийца, истукан каменный.

— А если ребенок, али старик слабый?

— А мы хоть одного такого убили? Я вот как иду на дело, всегда свою семью вспоминаю. В 22-м вкатились в нашу деревню «товарищи». Как стали выволакивать из погреба зерно, а ведь зима подходила, и нас, ребяташек, в семье было семеро, мал-мала... Мать моя

завопила в беспамятстве да слабыми руками за мешок и ухватись, а черный, весь в ремнях комиссар и вдарил ее в живот сапогом. Неделю мучилась и отошла, память ей вечная. Я после того из дома ушел, к ворам прибилсь, в твоих годах тогда был. Я ведь молодой, Любка, не гляди, что голова седая! С тех пор и кличку себе приспособил — Черный — я ведь для этих блядей-коммунистов — враг черный!

Воровская профессия Любки требовала не только одеколону и духов, но и большой доли изобретательности и, скажем, не боясь этого слова, — смелости. К вечеру, когда загорались на улицах первые огни, Любка оканчивал прихорашиваться и наряжаться, пудрил щеки, напяливал на блестящие вьющиеся волосы лихой красный беретик и отправлялся в центр, к Охотному ряду или к Метрополю. Здесь он выбирал удобный и укромный угол, подальше от обычной толпы выставлявших себя напоказ проституток и педерастов, и терпеливо выжидал. Обычно долго ждать не приходилось: свежая румяная мордашка и округлые формы Любки быстро приманивали ловца. Как правило, на Любку клевали люди солидные, 40-50 лет, семейные товарищи, желавшие под вечер освободиться от нагоревшей за день похоти. Кавалер подкатывал к Любке, жеманившейся под каким-нибудь фонарем. Если «товарищ» на вид был по Любкиным понятиям «подходящим», т. е. денежным и хорошо одетым, Любка быстро соглашался и уводил его в глухие проулки Замоскворечья. Здесь он быстро находил кратчайший путь к заранее условленному подъезду, прятавшемуся в темном полуосвещенном дворе, и начинал подниматься по лестнице, как бы ведя жаждущего наслаждений «товарища» в свою квартиру. Но обычно даже до второго этажа дело не доходило: Седой, Щука или кто другой из малины возникал из тьмы, слышался сдавленный крик, быстрые глухие удары, и любитель ночных приключений либо пятился в одном исподнем, либо черной грудой окровавленного тряпья валялся на ступеньках парадного, чтобы утром стать темой для разговоров и пересудов всего квартала. Так и текла Любкина беспутная, бездумная жизнь до памятной сентябрьской ночи. Любка, как обычно, пристроился у Метрополя, где его уже многие знали как профессиональную жрицу любви, не подозревая об истинном поле. За время «работы» Любка пообтерся, стал более округлым, еще более женственным. Он давно уже и мысленно относился к себе как к женщине, да и был ею для всей воровской братии. Но ни разу с теми из мужчин, что клевали на его прелести, не испытал он желания пройти весь путь до конца. Зачем? Душа его по-прежнему принадлежала Мишке-фотографу, а тело делили между собой Седой да Черный. Иногда они ссорились из-за права быть с Любкой в постели. И это доставляло ему огромное наслаждение. Он глядел на их потные, разгоряченные лица и жаждал драки, крови из-за его, Любкиного тела. Но обычно до драки дело не доходило, и более мягкий — Седой уступал право не первой ночи Черному. Ласки обоих его любовников были жестокими, эгоистичными. И Любка часто, корчась от боли и унижения, тихо выл в мертвой тишине малины под храп очередного обладателя.

В этот памятный дождливый вечер Любка долго стоял, прижавшись к фонарному столбу на Театральной площади. Несколько раз к нему подходили какие-то незавидные клиенты. Тихо матерясь про себя, промокший Любка хотел было уже плюнуть и отправиться домой в теплую малину, но именно в этот момент около столба появился представительный пожилой мужчина под большим, старинного образца зонтом. Он повертелся около Любки, быстро воспрянувшего духом и выражавшего всем телом и лицом интерес и томление. Мужчина, наконец, преодолел смущение и спросил густым сипловатым басом:

— Не желает ли девушка пройтись под зонтиком по приятной погоде?

«Девушка» тотчас же прыгнула под зонтик и повела свою жертву старым маршрутом мимо Кремля и Василия Блаженного. Клиент, не жалуясь на погоду, молча шагал рядом, искоса поглядывая на Любку и приветливо улыбаясь.

У проходного темного двора Любка остановился на мгновение и скользнул в подворотню, направляясь к неосвещенному, заранее облюбованному подъезду. Как всегда, он стал медленно подниматься по лестнице, прислушиваясь к шагам неторопливо бредущего

клиента. Неожиданно из темного простенка очередного марша на Любку метнулась чья-то большая черная тень. В следующий момент он оказался подмятым, скрученным и ведомым вниз по лестнице двумя синешинельными ментами. Они быстро выволокли не сопротивлявшегося Любку во двор, и он только вполглаза успел заметить, что другие синешинельные тащут чье-то тело по земле к шумно пыхтевшему, неведомо как появившемуся грузовику. У кабинки шофера стоял Любкин давешний господин с зонтиком, и даже в темноте было видно, как блестят его зубы, оскаленные в насмешливой улыбке. Любку забросили в кузов, точно мешок картошки, и грузовик быстро покотился по тряской мостовой. Любка лежал в кузове на каком-то вонючем тряпье и чувствовал, что рядом мотается чье-то безжизненное тело. Живот Любки подвело от мучительной боли. Его стошнило. Он пытался двигать связанными за спиной руками. И неожиданно легко ремень распустился. Тихо, стараясь не привлекать внимания сидевших в кабине, Любка подполз к борту и одним быстрым движением перекинулся через него. Упал он, к счастью, не на мостовую, а то мне пришлось бы закончить рассказ о его историях, а на мягкую, сдобренную дождем обочину. Оглушенный, он лежал, не шевелясь, еще не веря, что спасся. Мучительно болела спина, но руки и ноги были, хоть и исцарапаны, целы. Прихрамывая, он медленно стал пробираться к Казанскому вокзалу, к его единственному пристанищу: воровской малине.

Тихими, опасно притаившимися переулками ковылял Любка по Москве, высвеченной рыжим, осенним рассветом. Через заросли жгучей крапивы и терпко пахнущей полыни пробрался к знакомому пролому в заборе, облюбованному для возвращений еще прошлой зимой. Запах опасности, незнакомые шорохи насторожили и без того потрясенную душу Любки. Внезапно, с грохотом, сорвалась с петель наружная входная дверь малины. С матерными криками, воплями и стонами вылетали во двор мужские тела. Любка увидел, как трое ментов волокут Щуку, утирающего кровь, заливавшую правый глаз. Дальше пошла вся компания, но Черного с ними не было! Ликование Любки было непродолжительным. После небольшой заминки синешинельные вытащили во двор темный длинный предмет, оказавшийся безжизненным телом, укрытым холщевым мешком. И Любка с горестью заметил, что из прорехи безжизненно выпадает рука. На ее среднем пальце Любка успел увидеть знакомый серебряный с чернью перстень Черного.

Так кончилась, рассыпалась, развеялась утренним осенним ветром воровская малина, что была для Любки ночлегом и домом, тихим островом в его бурливой воровской жизни. Он лежал в крапиве и, странно, слез не было. Все выгорело, опустело в его душе. Где-то на самом дне зрела даже мучительная сладкая радость. Нет Черного, нет Седого, нет Щуки. Нет свидетелей его ночных унижений, нет кровавой связи и проклятой беспомощности. Снова и снова Любка вспоминал скрюченный палец Черного со знакомым перстнем и почти физически ощущал сладкую боль, что причинял ему злорадно ухмылявшийся Черный этим самым перстнем, когда его корявый палец проникал в Любкму плоть.

## VI

Весь день, до первых звезд, пролежал Любка в зарослях у пролома в заборе. Видел, как шастают по двору менты, вытаскивая воровские пожитки. Только убедившись, что последний грузовик с ворчанием прогрохотал по мостовой и скрылся в клубах сиреневой пыли, выполз Любка из своего зеленого укрытия и, прихрамывая, побрел дворами к Вокзальной, названной Комсомольской, площади. На немногие сохранившиеся у него рубли купил он билет, и понес его общий бесплацкартный вагон из Москвы на Волгу, в давешний городок, что после московской адской жизни казался Любке раем обетованным.

Мерно стрекотали колеса, словно полк шагал в ногу по железному мосту. Соседи Любкины

один за другим засыпали, убаюкиваемые непобедимым ритмом движения. Напротив Любки прикорнула у окна гражданка средних лет, цепко ухватившаяся за плетеную сумку, пристроенную на коленях. Время от времени гражданка, вздрагивая, просыпалась и, пугливо озираясь, что-то щупала и проверяла в сумке. Для Любки, прошедшего начальную воровскую школу, эти движения были что для кота вид молока, налитого в блюдце. И фраеру было ясно, что в сумке у гражданки было что-то весьма интересное. Любка скрутил из носового платка нечто подобное кульку, запихнул в него свой рваный, пустой кошелек, пивную бытылку, валявшуюся под лавкой, спичечную коробку и стал терпеливо ждать. Вот гражданка отворила отекие глаза, осоловело повела ими вокруг и, встрепенувшись, снова ухватилась за сумку. Успокоенная, она стрельнула прояснившимся взором прямо в Любкино лицо. Он уже был наготове.

— Сладко вы дремлете, тетенька!

— Да поезд-то укачивает. Словно младенца в люльке. Неволей заснешь! А ты куда, голубчик, путешествуешь?

— Да в Н-ск, — Любка назвал первый попавшийся в памяти город, — К родственникам на побывку.

— А, на сладкие пироги потянуло. Москва-то, она не мамка — даром не накормит!

Разговор весело замельтешил, подогреваемый ночной скукой и тишиной. Улучив момент, Любка, указав на свой импровизированный узелок, попросил гражданку последить за «добром», а сам направился в туалет. Вернулся он минут через двадцать, внося в душное отделение вагона ночную свежесть.

— Ишь ты как долго — живот, что ли, прихватило? Я уж думала часом не сошел ли ты с поезда-то.

Любка только смущенно улыбался и благодарил за труды.

— Ну и я, что ли, отправлюсь туда же... Ты уж, паренек хороший, пригляди за сумкой. Тяжело ее туда тащить, да и нечисто там, а в сумке-то продукты-гостинцы для внучат!

Любка даже дыхание затаил, дивясь неразумности гражданки. Одно мгновения хватило ему, чтобы, порывшись в сумке, выхватить что-то тяжелое и показавшееся Любке кошельком. Выскользнув из вагона, Любка зашпешил по грохочущим переходам в самый конец поезда. Где-то вдали послышались истерические вопли.

— Вернулась, раззява дурная, — беззлобно ухмыльнулся Любка.

Поезд внезапно резко затормозил, и Любка от неожиданности полетел по проходу и крепко ударился плечом о чей-то свисавший со второй полки сапог. Дальше было просто. Любка выскочил из последнего, незапертого на его счастье вагона, и зайцем припустился по широкому полю, заросшему густой озимой пшеницей. Только убедившись, что поезд ушел, унося ограбленную гражданку и Любкин носовой платок, он упал на землю и долго лежал, чувствуя теплое дыхание ветра, допевавшего свою ночную песню.

По утренней, обжигающей холодом росе пошлепал Любка через молодой березняк наугад, не разбирая дороги. Когда совсем рассвело, присел у белого скользкого от росы ствола и развернул свою добычу. В плотно укатанном газетной бумагой свертке были царские золотые рублевки. И было их «много». Больше сотни — по Любкиным многократным подсчетам. Любка запихнул их в оба башмака, отчего идти стало весьма неудобно. Но Любка терпел и ковылял неторопливо по проселочной дороге, рассчитывая, что куда-нибудь она его приведет. И он был прав: дорога вывела его на высокий холм, и ее желто-бурая лента,



петля меж оврагами, протянулась к мосту через небольшую речонку, а на другом берегу Любка рассмотрел тесно-толпящиеся одно- и двухэтажные здания то ли села, то ли небольшого городка. И этот мирный, еще не проснувшийся городок, укутанный в последние клочья утреннего тумана, всколыхнул в сентиментальном Любке душу, напомнил о Мишке-фотографе, о счастливых первых днях его любви. Но чувства чувствами, а голод напомнил Любке, что, кроме золотых рублей, у него ничего нет. Даже мелкой монеты не осталось, чтобы хоть ватрушку какую купить. Стряхнув грустные мысли, Любка приблизился к первому дому и заглянул в окошко, не затворенное почему-то ставнями на ночь. Первое, что он увидел, был круглый, накрытый скатертью стол. Посреди стола — большая кастрюля с картошкой в мундире. Рядом лежала неочищенная головка лука, а в большой тарелке плавали кислые огурцы и яблоки. Несмотря на голод, Любка рассмотрел стоящую на табуретке рядом со столом гармонь, блестящую многочисленными ладами.

Словом, у Любки потекли слюни не только от вида яств. Главным образом, ему мучительно захотелось иметь гармошку и не для продажи, а для себя, чтобы выучиться играть, да вернуться домой в скрипучих блестящих сапогах, в черной паре, да как вдарить по ладам, повести плечами и голосить весь вечер до утренней зари, и чтобы парни всего села с зависти позеленели. Все эти несерьезные мысли прокатились в Любкином мозгу, как горошины по гладкому полу, и в следующий момент он уже осторожно влезал в легко отворившееся окошко. Какой-то непутевый стакан был задет Любкиной ступней и покатился, производя веселый звон и грохот. Выждав, когда все успокоилось, и убедившись, что стакан никого не разбудил, Любка на цыпочках подплыл к столу и, собрав все четыре конца скатерти, стал сооружать огромный куль, куда на почетное место была водружена и гармонь. Когда все было готово, и кастрюля, с картошкой, огурцами и яблоками, и даже краюха черного хлеба покоились удобно и прочно на Любкином плече, почувствовал он чей-то веселый взгляд и краем глаза, еще не веря своей промашке, увидел, что из-за пестрой занавески выглядывает чье-то лицо.

— Ну-ка, положи на место, что не твое! — раздался спокойный, негромкий голос.

Послышался стук босых ног и, спрыгнув с печки из-за занавески, на Любку пошел высокий обритый наголо парень в одних трусах. Любка в ужасе присел, одной рукой не выпуская скатертный куль, а другой, одурев от страха, он прикрыл голову, ожидая оглушительного удара. Но его не последовало. Парень обошел Любку со всех сторон и спросил шепотом:

— Вор, что ли?

— Воровка я, — последовал Любкин неуверенный ответ.

— Ха, пидерас попался! Ну развязывай добычу, да аккуратнее: гармонь не урони!

Любка послушно развязал скатерть и расставил все предметы, как были. Поняв, что трепки не будет, Любка стал медленно отступать к окну, готовясь выкатиться из несчастливого места. Парень насмешливо, но не злобно, а как-то даже сочувственно, рассматривал Любкины движения:

— Да не дрейфь ты, дура. Иди морду умой, кормить тебя буду!

Любка, не веря своим ушам, подошел к рукомойнику и стал полоскаться, смывая многодневную пыль и грязь.

— Да что ты только сопли свои размазываешь: сними рубашку, портки, да как следует ополоснись, а то баня только завтра будет! Как кличут?

— Любка я.

— Ага, баба значит. А хер-то у тебя здоровенный!

Парень подошел к Любке вплотную и как свою вещь пощупал Любкин срам.

— Не больной ты часом? А то многие воры трипер из столицы привозят. Ну давай, Любка, картошкой да огурцами завтракать, а потом на печку спать завалимся, тогда увидим, какая ты есть баба!

Так воровская неудача Любки обернулась для него неожиданной находкой и приобретением нового друга и любовника. Бритый, назвавшийся Иваном, оказался из своей, воровской же братии, но «работал» он в одиночку и до встречи с Любкой только раз попадался на мелком воровстве. «Ходка» у него была короткой — всего два года. И вернулся он из лагеря только за неделю до Любкиного утреннего вторжения. Так Любка в очередной раз прилепился душой и телом к новому человеку. Воровали они немного, и в основном по окрестным селам «работали»: то селпо ночью обшмонают, то из кузницы дефицитных гвоздей наберут, а то и в курятник заберутся. И глядишь, дома куриным супом лакомятся. Иван оказался мужиком неприятельным, молчаливым и, на Любкин вкус, холодноватым. Но выбирать ему не приходилось, да и за Ивановой спиной чувствовал он себя словно в каменной крепости.

Золотые монеты Любка отдал Ивану на хранение, и тот куда-то их запрятал, а потом они оба забыли об этом своем богатстве. Может и сейчас лежат Любкины монеты, спрятанные в каком-нибудь полуразвалившемся сарае или курятнике...

Так прошел год, и Любка начал уже скучать и подзуживать Ивана двинуться куда-нибудь из этого маленького села поближе к Москве. И уже Иван согласился, донятый Любкиными приставаниями, да на беду замели их на очередном «деле». Попались глупо, по-мелкому: брали городской «универмаг» — темную подслеповатую лавчонку, в которой только консервы, да ситцевые ночные рубашки составляли основной товар. Сторож, обычно спавший у себя дома, на этот раз после ссоры со своей бабой завалился спать у самого крыльца «универмага». Да и поднял шум. Так и увели Ивана и Любку в местную милицию. Они сидели в маленьких обшарпанных камерах и перекикивались через стенку.

— Ты Любка — не бойсь, я все на себя возьму.

— Да зачем же, Ваня, — мягко бормотал Любка, — вместе были, вместе и отвечать.

— Слушай меня, дура, ни при чем ты. Так и вякай все, мол, я тебя подговорил, а то, если групповой грабеж, влепят нам с тобой вплоть до вышки, поняла, дура?!

— Ага, ага, поняла, я, милый, все поняла.

— Ну и хорошо, ну и ладно. Скучать я без тебя, Любка, буду. Полюбил я, что ли? Не знаю...

Любку неожиданные слова эти резанули, и слезы сами потекли по грязноватым Любкиным щекам.

— Да не сопи ты, не вой, — слышался снова голос Ивана. — Может в зоне встренемся, любовь моя дорогая!

Тут Любка заревел в голос, так горько и тошно стало у него на душе, как еще никогда не было. И не то чтобы он любил Ивана, а вот слова его, долгожданные и дорогие, пробудили в душе Любки старые, не зажившие еще воспоминания о Мишке-фотографе, напомнили о непутевой, беспросветной и безнадежной судьбе женственной ипостаси, запертой в тюрьме мужского тела.

Утром слышался грохот открываемых тяжелых запоров, и Любка услышал в последний раз в своей жизни голос Ивана:

— Прощевай, Люба, помни.

А что помни, Любка уже не слышал.

Вечером того же дня, по решению суда отправили Любку на стройку: «Великую каторжную» — «Беломор-канал».

## VII

С шумом подкатил к милиции, где сидел Любка, воронок. Менты втиснули его в переполненную машину, уминая тела сапогами. И Любка, задыхаясь от запаха человеческого страха, повис на чьей-то спине, сливаясь со всеми пассажирами воронка в единый многоглавый клубок, раскачиваемый и разбиваемый металлическими стенами безжалостной машины. На какое-то мгновение Любка даже потерял сознание. Очнулся он, когда воронок, круто повернув, внезапно затормозил под стоны и проклятия его пассажиров. С разорванным воротом рубахи, чувствуя острую боль в отечной правой ступне, вывалился Любка из воронка. И тут же упал, не в силах пошевелить избитым и измочаленным в дороге телом. В следующий момент у самого носа возникла чудовищная оскаленная маска бешено рычащей немецкой овчарки.

— Ну ты, блядь каторжная, вставай, пока я пса не спустил! — раздался над Любкой чей-то голос, и он, подняв глаза, увидел красное от напряжения и злобы лицо молодого охранника, держащего собаку на поводке.

Поднявшись, Любка тут же был подхвачен ритмом бегущих куда-то людей. По обе стороны этой струящейся человеческой реки стояли через правильные интервалы охранники с тревожно рычащими или лающими от возбуждения псами. Колонна эков бежала куда-то вдоль этого собачьего-человечьего забора, подгоняемая матерными криками охранников, горячащих своих собак, вьющихся и прыгающих от нетерпения на поводках. Утренний сиреневый мрак разбивался о желто-белые струи прожекторов, высвечивающих клубы пыли, поднимаемые сотнями подошв, шаркающих и топающих.

— Стой! — раздался чей-то сорванный в крике голос.

Колонна остановилась перед какой-то темной и, как показалось Любке, непроницаемой стеной.

— Присесть всем на корточки, руки на голову! — раздался тот же хриплый голос

Любка со всем человеческим стадом присел и положил ладони на голову. Кося глазами, он разглядывал небритые, запыленные лица.

— По одному с правого фланга — на вахту марш! — раздалась команда.

Когда очередь дошла до Любки, он увидел то, что казалось ему стеной. Это были гигантские железные ворота, ведущие к серому зданию. Взойдя по лестнице на довольно большое крыльцо, Любка остановился и оглянулся на мгновение — через открытую пасть ворот он увидел сидевших на корточках эков с поднятыми и заложенными на затылок руками «Точно неубранное картофельное поле,» — почему-то подумалось ему.

— Ну-ка иди сюда, любопытная Варвара! — услышал Любка высокий тенор, и в следующий момент большая волосатая рука сгребла его, и он оказался перед высоченным ментом, у зарешеченного окна довольно светлого коридора.

— Снимай одежду! — приказал ему гигант.

Любка, подчиняясь, механически разделся.

— Петров, пиши: татуировок и особых примет на теле не имеется. Глаза голубые, волосы русые, кожа чистая!

— Присядь, еще раз присядь. Так — одевайся — 4-я камера — руки за спину! — Эй, возьмите его кто-нибудь!

Через минуту Любка входил в огромную полную народу 4-ю камеру. Оба этажа ее нар были забиты сидящими, лежащими и даже стоящими людьми. У самой двери Любка наткнулся на огромный железный чан, откуда на него потянуло нужником. «Параша». Любка все внутреннее устройство камеры представлял по рассказам Ивана. В действительности все оказалось гораздо гаже, но по-своему интереснее. Он присел прямо на заплеванный пол у нижних нар. На уровне его глаз с одной стороны торчали чьи-то грязные босые ступни, а с другой — свешивалась молодая вихрастая голова.

Приветливые глаза весело рассматривали Любку.

— Ты чего это на полу устроился? Иди сюда!

И Любка оказался затиснутым между лежащими на нижних нарах.

— Ты за что здесь? Любка смолчал.

— Ну не хочешь, не говори, я ведь не следователь, а так, для интересу. Я вот по мокрому делу иду. Вообще-то я вор, вор в законе. А вот попутался на мокром, еб твою мать! Нашел после дела одного — шмару. Проститутку, конечно, блядь, но красивую. Да, легли мы значить с ней, и давай работать.

— Голышом или в одеже? — спросил кто-то с верхних нар.

— В том-то и дело, что в одеже я был: только конюшню свою расстегнул. Боюсь я голышом с незнакомыми девками — два раза мандовошек хватал, а одежа все ж какая-никакая, а защита. Только стало меня забирать, чувствую вот-вот кончу, как блядь эта руку мне на жопу положила, и давай в заднем кармане шарить. Так меня обида разобрала, до самого сердца: я ее, суку, на улице подобрал, накормил, в малину привел, а она меня шмонать начинает. Не помню как, но схватил ее, проститутку, за горло и голыми руками душить стал. Под газом, конечно, был. Она, сволочь, хрипит, а руки из моих карманов не убирает, а это меня еще больше бесит.

— Так это она в беспамятстве, — протянул кто-то из угла.

— Конечно, в беспамятстве, так ведь я-то пьяный был. Задушил ее и тут же спать завалился, будто после ебли по-хорошему. А на грех в эту ночь менты на малину наскочили. Так и замели меня с расстегнутой мотней, а она рядом с задраным подолом. Синяя вся, и руки мои на шее ее застыли. Я и запираяться не стал. Убил и убил. Милиция же меня и благодарила: эта, говорит, проститутка многих мужиков так обчистила, а доказательства нет. А я, выходит, свой суд сочинил: был прокурором и адвокатом и исполнителем!

— И не жалко тебе ее?

— Не знаю, может и жалко, да себя еще жальчее: восемь лет схватил.

Любка тихо лежал, разглядывая красную с выпуклыми жилами руку, что придушила проститутку. Ласковые серые глаза душителя внимательно разглядывали Любку.

— Так все-таки за что тебя-то прихватили?

— Воро... вор я, — прошептал Любка, вспомнив наставления Ивана.

— Вор, говоришь, — с любопытством спросил кто-то, свесившись с верхних нар. — Из каких местов? В Москве работал? Назови хоть одно имя, а то многие говорят, вор, а на деле ффраер, за горсть зерна сел.

— У Черного я был...

— Погоди-ка, погоди, я раз Черного встречал. Малина у него была у Казанки. Еще помню, он мне что-то бормотал о пидорасе, что под проститутку канает. Как тебя звать-то?

— Любка, — покорно прозвучал ответ.

— Ты вот что, не боись меня, — зашептал душитель в самое ухо Любки. Ты со мной по-хорошему, и я с тобой. А то ведь тут закон волчий, если кто узнает, что пидерас, то первое — к параше тебя кинут, а ночью заебут. Понял?

Любка согласно кивал головой. К ночи новый Любкин приятель, по прозвищу Колька-генерал, вытеснил какого-то старичка из углового, самого укромного места на нижних нарах, и завалился спать с Любкой, притиснув его к самой стене. Утром, часов в шесть загремели засовы, и менты стали выкликать по одному.

— На этап, — пронеслось по камере.

Когда дело дошло до Кольки-генерала, тот лениво слез с нар, потянулся картинно и, играя мышцами мускулистого тела, поплелся к распахнутой двери камеры. Остановившись на минуту, он обернулся, кинул взгляд в Любкин угол и, обращаясь ко всей камере, сказал:

— Ухожу я, братва, может, в последний путь, но оставляю вам, дружки-приятели, подарок бесценный бабу! — и он указал на дрожащего и бледного Любку, сжавшегося в комочек на краю нижних нар. — Всю ночь его ебал — ни с какой бабой сравнить не могу, так что прощевайте и помните мою доброту!

Дверь камеры захлопнулась, и послышались удары и истерические крики Кольки-генерала:

— Так за что ты меня, начальник, я ведь только пидораса выдал!

В камере воцарилась опасная тишина. С верхних, воровских нар к Любке свесилась голова:

— Правду Колька сказывал, что пидерас ты?

— Правду, — прошептал Любка.

— Скидывайся с нар тогда и садись к параше.

Любка слез и сел у вонючего замызганного чана.

Он почти физически, не поднимая глаз, чувствовал волны презрения и брезгливого интереса, струившиеся с нар. Двадцать пар глаз рассматривали его, сидевшего на заплеванном, месяцами не мытом каменном полу и с напряжением ожидавшего худшего. Но ничего особенного в камере не произошло. Подошло время завтрака, и через кормушку стали раздавать баланду и мокрый хлеб.

— У нас пидорас один завелся — ты ему общую миску не давай — сказал дежурному старший по камере, не слезая с верхних нар, и привычно принимая баланду от прислуживавшего ему вертлявого паренька. Когда очередь дошла до Любки, он получил

корявую мятую миску с дыркой в дне.

— Ты хлебом дырку залепи, — деловито-добродушно посоветовал ему раздатчик.

Жизнь в камере меж тем шла своим чередом. Аристократия-воры, оккупировавшие верхние нары, густо рыгали и закуривали самокрутки. Любка слышал, как кто-то на верхних нарах пытается перекрикиваться с «подельником», видимо, сидевшим где-то недалеко в соседней камере. Любка видел, что компания на нижних нарах начала карточную игру. Кто-то стучал костями домино. Двое с верхних нар прогуливались по камере и о чем-то оживленно беседовали. И вся эта жизнь шла мимо Любки. Какая-то невидимая стена отделяла его от остальных. Никто не пытался заговорить с ним. Подходя к параше опорожниться, зэки делали вид, что Любка не существует. Брызги мочи орошали Любкино лицо, но он закаменел в страхе и напряжении и даже не пытался отстраниться.

— За что это он меня так, — лезли в голову Любки непрошенные мысли. — Ведь ночью-то любил он меня, ласкал, целовал без счета, слова дорогие говорил. Ведь единым телом были. За что он меня? Третье интермеццо

Так Любка впервые встретился с человеческой ксенофобией, с ненавистью ко всему иному, непохожему, отличному. Он и не подозревал, что закрытая, наполненная миазмами камера потьминской тюрьмы всего лишь капельное отражение океана человеческих отношений. Жесткими правилами, традициями, наставлениями письменно и устно охраняет себя людское большинство от всего необычного, непохожего, уродливого по общим меркам. Чтобы быть, чтобы существовать, как существовали до нас нам подобные, чтобы выживать и выжить. Ну так что же вы стоите? Жгите, истребляйте непохожих, отличных, ибо они болезнь и гнусность! Вычеркните, уничтожьте всех, кто любит, подобное себе, казните мужчин, спавших с мужчинами, и женщин, спавших с женщинами! И уйдут из вашей Истории Сафо и Юлий Цезарь, Аристотель, Платон и Сократ, Микель Анджело и Бенвенуто Челлини, Чайковский и Оскар Уайльд, Андре Жид и Леонардо, Нижинский и Роден и многие, и многие, что несть им числа...

И задохнется этот узаконенный высокоморальный мир, замкнется в своей собственной затхлости, без новизны и развития! Вы говорите, что естественный инстинкт — это любовь для продолжения себе подобных. Что ж, следуйте этому инстинкту, как указывает вам мораль и освященные веками традиции, и вы получите перенаселенную крысами замкнутую камеру. Так что не прикрывайтесь естественными законами. Не гомосексуалы изобрели анти-бэби средства! Так о чем же это мы? О Любке, сидящем у замызанной параша, поливаемом мочой морального большинства...

## VIII

По каким-то неуловимым признакам Любка почувствовал, что наступает вечер. В камере стало тише, и в этой тишине еще явственнее была слышна переключка двух подельников, видимо, взятых за изнасилование.

— Ванька, а, Ванька!

— Ну чего тебе?

— Ты кажи — не ебал!

— Нет, ебал, ебал!

Эхо последнего слова гулко отдавалось, отражаясь о стены внутреннего двора, и Любке слышалось:

— Бал, бал, бал!

Прошла вечерняя поверка, раздали очередную баланду и кусок провонявшей селедки, которую Любка бросил в парашу. Откинулась кормушка и послышалась команда:

— Отбой!

Камерный верховод, сидевший на верхних нарах, небрежно бросил в кормушку:

— Начальничек, свет бы притушил, а то спать охота!

Одна из зарешеченных ламп погасла и опасные тени сгустились в углах камеры, и совсем темно стало под верхними нарами. Оттуда слышались шепот и смешки — зэки травили анекдоты. Любка и сам не заметил как, задремал. Проснулся он от чьей-то тени, упавшей ему на лицо. Он открыл глаза и увидел над собой стоящего верховода с верхних нар, а за ним из полутьмы выглядывали лица еще трех или четырех наголо обритых парней, которых Любка не видел днем.

— Ну ты, пидерас, полезай под нары, — сказал верховод, указывая на щель под нижними нарами и расстегивая мотню.

Любка, оцепенев, продолжал сидеть.

— Ну не кобенись, дура — все равно ебать всем хором будем, — проговорил парень из-за спины верховода.

И Любка увидел тонкое как шило лезвие ножа, блеснувшее в руке говорившего. Медленно, на четвереньках Любка пополз к нарам. И вдруг он почувствовал, какой-то щемящий холодок где-то в груди. Лицо его покраснело, и все тело облилось холодным липким потом, и внезапно для самого себя Любка вскочил на ноги, прыгнул к стоявшей около стола железной табуретке и, схватив ее, стал вслепую крушить бросившихся врассыпную бритоголовых парней. Опомнился он только, увидев залитое кровью лицо верховода, и почувствовав, что кто-то пытается разжать его заостренный кулак, обхвативший круглую ножку тяжелой табуретки.

— Ты что, бешеный, что ли? — мент увел Любку из проклятой камеры № 4.

— Посиди пока здесь, — и он запихнул Любку в маленькую одиночку, где на полу валялось кем-то оставленное грязное одеяло и во всю стенку черной краской было намалевано: «Нинка — я ушел на этап!» — ниже подпись: «Николай».

У Любки стучали зубы и мучительно хотелось пить, но как попросить, он не знал. Нерешительно подойдя к двери, он робко постучал в кормушку. Она довольно быстро отворилась и недовольное бледно-синее от недосыпа или перепоя лицо мента заглянуло в нее.

— Ты чего? Пачек захотел? Чего барабанишь ночью?

— Пить я, дяденька, хочу!

— Я тебе не дяденька, а гражданин начальник!

— Пить, умираю хочу, — шептал Любка, уставившись в подозрительные глаза мента.

— Ишь ты, нервный какой. Сначала чуть до смерти пятерых не зашиб, а теперь пить просит!

— Так они же меня...

— Знаю, знаю, а на что пидоры в тюрьме, как не для ебли под нарами. Первый раз такого бешеного встречаю. А то другие так сами под нары лезут от ножа подальше.

— Так тесно же там, а я тесноты до смерти боюсь.

— Ха-хах-аах-ххаа! Ну учудил! Ты думал, что и они с тобой туда полезут?!

— А как же?

— Так там в нарах между досками щели в руку толщиной. Пидор, он на спине под нарами лежит, а они ему в рот по очереди спускают!

— Ааааа...

— Вот тебе и ааа, а в общем ты правильно это сделал, в следующий раз приставать на этапах к тебе поостерегутся. Слава-то о таких делах быстро по зонам бежит. Тебя как звать?

— Любка. — Подумав, сказал: — Вообще-то Петром, а правильное имя — Любка.

— Ну ладно, Любка, принесу тебе воды, хоть и не положено ночью.

Через минуту Любка с наслаждением глотал ледяную воду.

— Заутро на этап пойдешь.

— А куда?

— Кто его знает, скорее всего на Беломор-канал. Я вот что скажу тебе, Петька-Любка, ты как в зону придешь, свою натуру пидорную не скрывай. Не поможет, все равно узнают. Ты старайся правильного пацана найти, лучше из вора. Он тебе и защита и ебарь в законе. Тут уж никто против правила не попреет. А то зэки — народ жестокий — заебут! Ты ведь молодой, да смазливый, а женщины в зонах хоть и есть, да не про зэчную честь. Их больше начальство пользует.

Кормушка закрылась, и первый доброжелательный советчик в Любкиной тюремной жизни потопал куда-то по коридору.

А утром, действительно, взяли Любку на этап. На этот раз воронок не был так набит, и поездка была довольно быстрой — только 5-10 минут. Выкатившись из воронка, Любка с содроганием увидел верховода и четверых его помощников, наскоро перевязанных и в пластырях. Под глазами у верхового были черные полукружья. «Точно очки нарисованные», — подумал Любка. Компания мрачно смотрела на Любку, но приближаться не пыталась. Через пустые платформы менты повели колонну к поезду, запрятанному где-то меж товарняка. Было очень рано — Любка увидел на больших станционных часах — полпятого. Но у самого столыпинского порожняка произошла заминка: колонна наткнулась на толпу баб, одетых по-деревенскому, в платках, в тугих в талию бархатных жакетках. Они молча стояли со свечками в руках и крестили проходящих опустивших головы и прятывших лица зэков.

— Спаси тебя Господи! — услышал Любка и увидел бледные старческие глаза, окруженные вязью мелких морщин. И так защемило его сердце, что даже слезы подступили к горлу. Деревня, сгинувшие братья и сестры, бабка — словно все они стояли и провожали Любку в далекий безвозвратный путь...

Почти до самого горизонта земля была перепахана и пересечена узкими канавами и змеилась дощатыми дорожками. Муравьиное море людей сновало с тачками по этим



дорожкам, таща, волоча, пихая песок, камни, выкорчеванные пни. В осеннем влажном воздухе стоял нескончаемый мерный гул человеческих голосов, скрип примитивных лебедок и мерное уханье паровой «бабы». По узким террасам, нависшим над дном будущего канала, катились одна за другой тачки, толкаемые зэками. Именно здесь и предстояло Любке отбывать срок...

## IX

Влажный воздух барака был полон человеческих запахов. Они были резкими и удушливыми, они были чуть заметными и даже терпимыми, очень редко они были приятными, но для Любки все они сливались в единое устрашающее целое, словно большое, опасное и незнакомое животное дышало ему в лицо, ожидая его неверного движения. Любкино место на нарах в бараке было у самого входа, у хлопающей двери. Он быстро привык к грязному тюфяку, к отсутствию белья, к ночным вскрикам и храпу, но запахи грязных, неделями не мытых тел убивали его.

— Ты, Петр, как ты есть пидорас, с нами за стол не садись, бери свою порцию и приварок и отваливай, — сказал ему в первый же день бригадир.

И Любка замкнулся в своем одиночестве. Тачка с песком была невероятно тяжелой. Она все время норовила перевернуться, да еще и утащить за собой отощавшего за полгода лагерной жизни Любку. Каждую тачку Любка должен был провезти примерно метров четыреста и перед самым концом настила предъявить ее ОТК — контролеру, спокойному широкоскулому татарину, черкавшему что-то в своих бумажках. Для Любки этот парень был почти неодушевленным предметом, некоей машиной, поставленной надзирать за ним, машиной без чувств и реакций. С момента появления Любки в зоне контролер Рахим только раз снизошел до разговора с ним. В полутемной, грязноватой бане Рахим протянул сжавшемуся в недоброе предчувствии Любке мочалку и коротко приказал:

— Потри спину!

Что Любка и выполнил, старательно и сноровисто. Через несколько дней бригадир вызвал Любку после работы в красный уголок.

— Ты, — сказал он, заминаясь и ища поддержки у всей бригадной братвы, собравшейся в сырой, прокуренной комнате, — Петр, т. е. Любовь, должен подтянуться, а то мы из-за тебя уже третий месяц приварок не получаем. Вчера ты пять тачек не додал, а третьего дня десять за тобой. Что ж мы, что ли должны пупок надрывать, а потом с голодухи дохнуть?!

Словом, известная «социалистическая» система круговой поруки навесила над Любкиной головой пресловутый Дамоклов меч, висевший на тонкой паутинке. И Любка понимал, что ни бригадир, ни остальные семь съедаемых «свободным коммунистическим трудом» не виноваты и совсем не хотят зла. Просто не мог, физически не мог Любка выполнять каторжную норму 70 тачек в день, а потому и бригада, вся бригада не получала «приварок»: ложку пшенной каши и кусок белого хлеба в обед.

Ночью Любка не мог уснуть. Он знал, что еще несколько дней без нормы, и засудят его по-новой, прибавят срок или пошлют на Колыму — лес валить. Когда он забылся под утро в зыбком туманном рассвете, приснился ему вещий сон. Будто везет он тачку по настилу — тяжелую и коварную, вдруг тачка перевортывается и заваливает Любку песком с головой. Душно, смертно, темно под песком. И понимает Любка, что вот-вот наступит ему конец от удушья и страха. И чувствует он чью-то руку, будто разгребает эта рука песок над Любкиным

лицом, и свежий утренний воздух льется ему в легкие. Поднимает он глаза, набрякшие от бессоницы и кошмара, и... Тут Любка и вправду распахнул свои голубые, не успевшие еще потерять наивность, глаза и проснулся.

— Ты чего, сон дурная видела? Головою под одеялу спряталась и орешь. — Голос принадлежал татарину-контролеру. Он смотрел на покрасневшего Любку участливо и без обычного презрения к педерастам.

— Ты, Любка, в обед приходи к ОТК — разговаривать надо!

Любка покорно кивнул и вылез из под одеяла. Рахим стоял перед нарами в уже опустевшем бараке и пристально рассматривал тощую плоть, которую Любка торопливо укутывал в серую тюремные одежды.

— А ты вправду, говорят, человек душить на пересылке? Насилничать он тебе желал?

— Да, враки это, — забормотал Любка. — Я только табуреткой железной зашиб нескольких. И не насмерть вовсе.

— Да ты не оправдывай, я тебя уважать за это очень. В 12 приходи к ОТК.

Было около двенадцати. Тусклое солнце просеивало свои лучи сквозь дымчатую серо-голубую пелену. Любка, пыхтя и обливаясь потом, доволоч тачку и опрокинул ее, добавляя несколько сантиметров к «памятнику сталинской эры». Контролер Рахим оскалился в улыбке, жмуря и без того узкие раскосые глаза.

— Идем, Любовь, говорить буду!

— Ты, дяденька Рахим, побыстрее говори, а то ведь обед пропустим!

— Не надо обед. У нас свой обед будет!

Рахим поднялся и зашагал, ведя Любку за собой. Прошагали они всего двести-триста метров в сторону от стройки, и Любка увидел себя среди островка еще не выкорчеванных кустов и деревьев. Присев у одного из деревьев среди густой травы, Рахим бесшумно приподнял кусок кочки, заросшей черникой и оплетенной можжевельником. Покопавшись в открывшемся провале, он достал оттуда какой-то сверток. Не прошло и минуты, как Любка уже жевал мягкое, тающее во рту сало и вдыхал забытый запах свежего деревенского ржаного хлеба. Кусок сала был не более спичечного коробка, и Любка откусывал микроскопические кусочки, стараясь продлить праздник.

— Ты, Лубка, должен понимать, — рокотал поучающе Рахим, — ты теперь кто? Зэк. А главная профессий наш — уметь спрятал!

— Было бы что прятать, — усмехнулся Любка.

Он дожевал последние остатки сала и старательно собрал все крошки хлеба с ватника. Не шевелясь, смотрел он, как Рахим завертывает хлеб и сало в бумагу и прячет в свой подземный тайник.

— Ты, Лубка, молодая и не понимаешь, что есть у тебя.

Рахим протянул большую, грубую руку и погладил Любку по плечу.

— Если будешь ласковой со мной, будем все пополам: посылки я каждый месяц получать. Братья у меня много — восемь!

— Да я не против, — протянул Любка, — так ведь негде: кругом люди ходят, да менты и комиссары в бараке толкутся!

— Ты не мельтеши, Лубка! Место у меня найдется, я ведь уже пятый год вкалывать. Мент один хороший есть. Он по пятниц и сред дежурить Мы ему из посылки платить, он нас на вахте пристроит: в постеле будем, Лубка, как на воле, понимать!

— И не страшно тебе, дяденька Рахим?

— Что страшно? — удивился контролер.

— Да с ментами дело иметь! Чай они все коммунисты.

— А что он, не человеки? Менты простые, они же свои, деревенские, и голодать не хуже наш брат. В селе нет ни хуя — все совет забрал. Зарплата — маленький. Вот и торгуют они с ээками. И ты подумать, Лубка, у нас срок есть, а они — бессрочники: всю жисть в зона!

Любка и не заметил, как Рахим, медленно подвигаясь, оказался совсем вплотную. Не шевелясь Любка застыл в ожидании, запутавшись в собственных ощущениях. Впервые за полгода он почувствовал человеческую теплоту, впервые за полгода с ним разговаривали без презрения и боязни запачкаться, опозориться около «пидора». Впервые за полгода здоровая «вольная» пища ласкала его язык. И все же была во всем этом какая-то горечь и унижение. Не мог Любка это выразить словами, но понимал всем естеством, что ласки все эти — купленные, что добрый сорокалетний Рахим противен ему физически. Но так истосковалась душа и тело Любки по ласке и любви, что, не сопротивляясь, отдался он Рахиму тут же в кустах, уткнувшись головой в кочку и стараясь в можжевелевом запахе утопить тяжелый дух, исходивший от прокуренного, прокопченного рта контролера.

— Ты, Лубка, хороший, нежный, — шептал Рахим, — ты только мой жена будешь! Если кому дашь — убью! Мы, татар, ревнивый — не терпим обман.

Любка молчал и старался не дышать, чтобы не чувствовать прогорклого дыхания.

И еще было ему колко и неприятно в промежности. Натягивая серые брюки, Любка не глядя на Рахима, спросил:

— И чего у тебя вокруг хера все бритое? Мандавошки что ли заели?

Рахим добродушно рассмеялся:

— Музульман мы, понимаешь? В нашей вере все должно брить: вокруг хую и подмышкой.

— Колко мне, дяденька Рахим!

— Ты потерпи, Лубка, — через недель пару новые волосы у меня вырастут. Я уж их не тронь — для тебе, жены моей, беречь буду.

— Ну пойдем, супруг долгожданный, — шутливо заговорил Любка, — ты бумажки расписывать, да жопу просиживать, а я — жопу надирать, тачки эти ебаные толкать!

— Ты, Лубка, меня слушать — не будешь жопу рвать. Я тебе десяток тачек приписывать буду, так? И еще ты, как бригадир не смотрел, — положи в тачку ватник, а сверху песками, да камнями посыпай, понял?

— Ох ты, как же я не сообразил, сам-то!?

— Женщин ты, Лубка, мозга у тебя не мужская. Ты меня слушишь — жить в зоне как в раю

будишь!

И потекла Любкина жизнь, словно вода в бурливом весеннем ручье. Подкрепляемый Рахимовым хлебом и салом, а иногда и копченой колбаской, он ожил, повеселел и бодро толкал полупустую тачку, выглядевшую внешне вполне легально, хотя под тонкий слой песка Любка умудрялся запихивать два ватника (свой собственный и Рахимов). К татарину и его запаху он постепенно привык и стал находить даже удовольствие в их встречах на вахте под охраной знакомого мента. В зоне, конечно, быстро узнали о Любкиной связи, но на удивление отнеслись спокойно и беззлобно.

— Ты, Любка, как ты есть контрольная полубовница, замолви словечко за бригаду. Мы без благодарности твоего Рахима не оставим! — просил его то один, то другой бригадир.

— Я вот что тебе скажу, Коля, — отвечал Любка, быстро освоившийся в своей роли придворной фаворитки — Ты хоть и сволочил меня и кинул на самое сквозное место в бараке, но мы люди не дешевые и зла не помним. Сколько тебе тачек надоть?

— Да сотен пять — до 110 процентов дотянуть.

— Многовато — знаешь, как оно опасно теперь с припиской?

— Да я же не задаром!

— Об задаром и речи не может быть! Два кило копченки, три буханки белого и две пачки грузинского второго сорту!

— Ты что, сдурел? Где я тебе два кило копченки возьму?!

— Это, мил человек, не наше дело! — куражился Любка.

— Да скинь ты немного, ебена мать!

— Ты, Николай, меня не матери, я хоть и пидорас в законе, а матерных слов не употребляю!

После длительной торговли, в которой Любка находил истинное наслаждение, он, конечно, «скидывал», и ко всеобщему удовольствию: бригада получала свои 110 процентов и выходила на — N-е место, получая переходящий флажок и заветный приварок, а Любка и его повелитель Рахим, да заодно и упомянутый мент, употребляли посылочные продукты. Так прошел Любкин первый год в зоне. К Новому году на удивление всего лагеря Любку упомянули в приказе и даже пропечатали в лагерной многотиражке под рубрикой «Наши передовики». Рядом с заметкой, где говорилось, конечно, о стахановцах и стахановках, великом почине и прочем, красовалась мутноватая форография Любки, везущего огромную, с верхом насыпанную тачку, с подписью «Равняйся на впереди идущих! Стахановец зоны Петр... выполнил двухгодовую норму к 31 декабря». Под песком как всегда были ватники.

— Сфотографировать как следует не могли бляди, ругался Любка, разглядывая фотографию.

Он завел большой чемодан, куда складывал прибывающее «вольное» добро. Носил он теперь только белую одежду: полотняную рубаху и такие же штаны, сшитые за 100 тачек лагерным портным. Он начал круглеть и, что больше всего его огорчало, белокурая густая шевелюра стала быстро редеть, на самой макушке появилась розовая и вполне заметная плешь. Он по-прежнему стал на самом сквозном месте в бараке, но тюфяк у него был новый (сам набил свежим крепко просушенным сеном) и чистый. И хоть печать изгиба оставалась и создавала вокруг него прозрачную, но непроходимую преграду для общения, Любкина связь с влиятельным Рахимом придавала ему некую респектабельность, почти приемлимость в тесном, замкнутом мирке зоны.

— Он хотя и пидор, а свой, зэк, и частушки голосить мастак.

— Крутится он с Рахимом — ты гляди, жиреть начал.

— А чего ты на него злобишься? Поглядел бы на других пидоров — подлее людей в зоне нет, все стукачи да проститутки. А этот, хоть и торговый мужик, а стучать ни-ни, да и живеть как баба порядочная с одним мужиком. Думаешь, легко ему? В зоне впервой, да еще пидор. Поглядеть бы на тебя, ежели бы по случаю тебя пидором сделали.

Так я бы собой покончил!

— Эх, милый, — говорить все мы можем, да вот как кончать собой судьба назначает — все жить хотят и жопу на растерзание отдадут!

Так судачили зэки о Любке на зоне.

Х

Слякотная, дождливая весна пришла на стройку. В воздухе запахло тревожно и призывно. На тонких израненных ветвях немногих деревьев появились пушистые мягкие почки. Вечерами высыпавшие из барачных зэки видели огромные стаи грачей, уток, галок, тянувших неведомо откуда — неведомо куда, летевших свободно, без границ и зон... Фиолетовым весенним вечером сидел Любка на крыльце барака и слушал, как высоко в небе тревожно-весело перекликаются птицы. Кто-то тихо сел рядом с ним, и Любка невольно отодвинулся, памятуя о своей лагерной неприкасаемости. Но присевший подвинулся вслед за Любкой.

— Чего тебе? — блестя глазами и волнуясь, шепотом вскрикнул Любка, вглядываясь в смутно черневший силуэт преследователя. И вдруг осекся, Несмотря на темень, он узнал, скорее угадал по знакомым линиям носа, и лба, по чуть заметному в весеннем воздухе запаху, — узнал и не поверил. Присевший рядом повернул к нему лицо и просто сказал:

— Ну да, Любовь Петровна, я это.

— Миша, Мишуля, — заголосил Любка, — да как же это! Господи!

И он упал перед темной, почти невидимой в темноте фигурой на колени. Он целовал руки, прижимался к одежде, грубым сапогам, и слезы, непонятные, горькие и обильные, текли по Любкиным щекам.

— Ах ты Люба ты моя, незабытая, — гладили Любку знакомые руки. — Я ведь в зонах-то с того вечера, помнишь?

Любка кивал, забыв о темноте. Он прижался всем телом к плечу Мишки, Мишки-фотографа, и застыл, только теперь понимая, что послано ему великое счастье и чудо воссоединения с любимым.

— Вчерась я в зону притопал с Потьмы, а до того везде побывал — по всей великой Рассее, по всей нашей зоне проехался.

— Полюбовник у меня в зоне есть, — вдруг с решимостью проговорил Любка.

— Знаю, знаю, и о железной табуретке доложили добрые люди.

— Дак я же одного тебя, всю жизнь...

— Знаю, ты себя не оправдывай. Это жизнь, она, сволочь такая, нас разбила и в разные углы развела...

— А я его завтра же брошу, хочешь, сейчас пойду и скажу.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Он-то ведь тоже не виноватый...

Любка протянул руку и нащупал змейку шрама, что вился по кадыку.

— Здесь он, родимый мой. — И он прижался губами к щетинистой шее. — Ты, Миша, подожди меня здесь, я в одну минуту чаек заварю, сало у меня осталось.

Они ушли в темноту, в ясную весеннюю ночь и присели на сырую, но уже согретую солнцем землю. Трепыхалось на ветру пламя маленького огарка свечи, припасенного Любкой, дымился пахучий цифирь, но Любка, как замороженный, все глядел и не мог наглядеться на полузабытые черты возникшего из небытия друга. Он не мог наглядеться на острый кадык, мерно двигавшийся на жилистой и пересеченной морщинами шее, на густую проседь кудрявой головы, на черные провалы глазниц и страшно блестящие белки глаз.

— Посивел ты, Михаил Петрович, и отощал до невозможности!

— Это ничего, это не страшно, Любушка. Годы бегут, да зона каторгой душит, да вот руку я на Колыме оставил.

Любка, еще не веря, ухватил пустой рукав ватника.

— Да как же, да за что ж они тебя?! — и слезы снова потекли по Любкиным неумытым щекам.

— Не они меня, а планида такая мне выпала... Я, Любка, в Бога не очень-то верую, а вот в Судьбу — это да. Понимаешь, рождается человек, только головку из мамкиной п-ды высунет, а кто-то там — и он показал вверх — уже пишет, уже катает в Книге: «Быть сему гражданину стреляным да ломаным в окопах, арестованным неизвестно за что, валить деревья в Сибири, быть простреленным пулеметом с вышки, и подохнуть в зоне на Беломор-канале...

— Ты, Миш, того, очень мрачно все расписываешь, а где же в Книге-то про любовь, да про нашу встречу-то?

— Тоже там все написано-запечатано: влюбиться поперек человеческого закона в паренька деревенского и взять его заместо жены законной. Потерять его и снова встренуть в зоне, где он в полюбовниках у суки татарской, контролера ебанного недобитого ходит...

Любка с испугом слушал и смотрел на знакомого и совсем почужевшего человека.

— Дак же не знал, что ты живой... Ты все про себя да про себя. А мне как было жить, сам знаешь, как меня тут считают — и не за человека вовсе. Если б я к Рахиму не пристал — покончили бы они меня, извели бы до смерти.

— Да что ты, Любушка, я ведь так, для присказки... Про тебя-то в книге и вообще такая ерунда накалякана: быть ему мужского пола с виду, да всей повадкой на женщину походить. И просидеть всю жизнь в зоне, потому как на воле нет у него места на этой земле.

Любка замер, медленно разбирая смысл слов, и когда понял, черная пелена застила ему глаза, и он привалился к Мишкиному плечу и снова тихо и горько заплакал.

— Да как же Он-то, Бог, зачем он таких, как мы, на свет выводит?

— И об этом я тоже долго раздумывал, Любовь моя дорогая! Богу-то все мы нужны — все, потому как книга должна быть полной, со всеми страницами. И каждая запятая в Книге той — важна. Вот ты, к примеру — нежный да ласковый — мужик с виду, а баба внутри, и, может быть, свойства эти для третьего дела необходимы — к примеру песни петь или стихи складывать, а может просто воздух согревать. А Бог-то — Он старенький да подслеповатый — только по нужному делу от Книги отвлечется, как Дьявол подлетит, да в Книгу и вписывает: грех содомский, ненависть, плодитесь, плодитесь без границ — пока с голодухи не помрете. А людишки и рады этим словам. Потому как у каждого за душой грех и недостача сидит, а тут прямо указано, кого обвинять в грехе надо... Вот и указывают они с радостью на таких, как ты, пальцами и куражатся, прикрывая собственную срамоту и гнилость.

Утром Любка вызвал Рахима. Они сидели в тех же нетронутых стройкой кустах, просвечиваемых утренним не жарким еще солнцем.

— Ты уж меня прости, дяденька Рахим, любовь я свою давнюю встретил. Спасибо тебе за хлеб-соль, за помощь твою добрую, а сейчас не могу я с тобой в любви быть.

— Это ты о Безруком-то? О Мишке-враге-народа?

— Ты как хошь его обзывай, а люблю я его без границы, без памяти...

— Я тебе, Лубка, начала говорил — кому еще, кроме мене, отдашь, убью его и тебя!

— Ну чего ты такое, Рахимушка, бормочешь! Было у нас все как у людей, было. Ты пойми, первой он мой, первой и единственный! Вот тебе все возвращаю, что от последнего ларька осталось, — и Любка протянул кулек со снедью.

— Ты что же, теперь с ним заодно чифирить будешь, спать вместе? А?

Любка молчал, опасаясь отвечать. Рахим поднялся, взял протянутый Любкой кулек и, внезапно размахнувшись, запустил его, да поддал ногой, так что улетело сало с хлебом в самую запретную зону.

— Ты помнила, что я тебе сказала — «Убивать вас буду», — спокойно сказал Рахим и, резко повернувшись, ушел, направляясь к бараку. Любка видел, что плечи и шея его как-то неестественно шевелятся, точно человек дыхание сдерживает. И понял Любка, что плачет он, большой, мужиковатый татарин Рахим.

...Любка, разморенный банным паром и теплом, медленно натягивал кальсоны на не обсохшее еще тело. Михаил только что выкатился из предбанника — чай заваривать пошел. Мысли Любки медленно шевелились: «И как из этой ситуации с Рахимом выпутаться? Голодновато с Михаилом-то будет, да ничего, прокукуем до лета, а там огород сварганим...» Вдруг вечернюю субботнюю тишину наполнил страшный визгливый крик — вроде собаку кто-то мучал, вроде лай и хрип ... Кто-то — Любка не разобрал кто — с белыми остановившимися глазами вскочил в предбанник и завопил:

— Любка, ты чего сидишь! Безрукого твоего Рахим убивает!

Любка как был в кальсонах выскочил белым видением на крыльцо бани. На слякотной, черной дорожке среди растаявшего за день снега лежало что-то страшное, бесформенное, словно куль с сеном, и из этого куля торчала протянутая к небу единственная рука, Любка подскочил к тому, кто несколько минут назад был полон жизни и ласки, опустил колени в снег и прижался к развороченной, промокшей от крови груди. Зэки неплотным полукругом окружили труп.

— Ишь как убивается...

— А что они не поделили?

— Да, Любка тому причиной.

— Татары эти — дикий народ...

— Да Рахим-то вроде спокойный мужик, и на зоне давно...

— А вот вишь — взревновал...

— Думаешь, ему что будет? Да ни хера! Может режим поменяют, а может на другую зону сошлют. Он ведь у опера в подручных давно...

Любка мычал что-то неразборчивое. Он поднял голову и оглядел всех ясными остановившимися глазами. Мишкина кровь густым струпом повисла на его мокрых еще после бани волосах. Он мерно раскачивался и пел что-то вроде колыбельной песни. Вокруг была тьма, и лица в ней мелькали страшные и незнакомые.

— Ты бы, Любка, в баню шел — отмылся, пока вода еще горячая есть.

— Ну чего ты, был мужик и нет. Отмучался.

— К лучшему это...

Любка послушно поднялся, вернулся в баню. Сел на лавку и стал медленно сдирать обмерзшие кальсоны. Долго мыл он задубевшие ноги и отдирали кровь Мишкину с волос. Он не помнил, как и когда вышел из бани, как и когда очутился на нарах. Долго лежал он в темноте, слушая вскрики и храпы соседей по нарам. Глубокой ночью встал, будто кто толкнул его в бок. Вышел на крыльцо. Небо было в ярких весенних звездах. Тянуло свежестью и морозцем. Любка пошел к отхожему месту. Отлил. Затем, словно кто вел его, побрел к бане. Долго смотрел на развороченную землю, тронутую морозом, на комья снега вокруг того места, где еще недавно лежал убитый Мишка. Дверь бани была почему-то открытой. Любка заглянул в парилку, в углу громоздились чистые шайки. Любка взял одну и пошел к кранам. Вода, зажурчав, отяжелела шайку...

Утром, как всегда, разом мигнув, вспыхнули все лампы в бараке. Люди закашляли, зазевали. Слышался хруст затекших суставов. Кто-то смачно сплевывал в угол мокроту. Любка быстро скатился с нар. Голова была ясной и легкой. У дверей барака на крыльце сидел в кругу зэков Рахим. Что-то очень веселый и болтливый. Любка обошел барак с тылу, вытащил запряжленную под бревна шайку. Она была тяжелой из-за замерзшей за ночь воды. Любка тихо, стараясь не привлекать внимания, подошел к Рахимовой компании, держа шайку за спиной.

— И чего ты, Любка, не веселый такой? — ухмыльнулось навстречу ему ненавистное узкоглазое лицо. И Любка со всей силы обрушил на эту улыбку, на эту бритую голову тяжесть шайки со льдом. Будто орех, треснув, раскололся череп Рахима. Что-то склизко-розовое потекло оттуда; из носа и рта хлынула кровь.

— Веди его, веди его, пидора, на вахту: повязочника эта сука убила!

На Любку навалились менты и помогавшие им два-три зэка из «примерных», исправившихся. Любку повели на вахту мимо запретки, мимо слепых окон амбулатории по мокрому, начавшему таять снегу. Опер подошел вплотную к Любке и, дыша винным свонявшимся ртом, сказал:

— Ну, Любка, пидор недоебанный, пришел твой конец! Я из тебя, суки, собственным ремнем душу выбью!



Любка молчал и только чувствовал странный холод внизу живота. Двое ментов втолкнули Любку в одну из вахтенных камер с зарешеченными окнами. Внезапно где-то в проходной задребезжал телефон. Опер выскочил из комнаты, а вслед за ним почему-то и менты. В углу камеры у большой печки копался на корточках дежурный зэк. «Старик-Егорыч», — подумал про себя Любка. Егорыч сочувственно поглядел на Любку:

— Ну натворил ты, парень, делов! Ты, как они тебя молотить начнут, не противься, а ори как можно страшнее... В крике-то боль легче выходит, да и бьют они послабже: все же как-никак люди — жалость имеют.

Любка подошел к ярко пылавшей печке, погрел о ее черную крашеную боковину руки. Краем глаза он вдруг заметил прислоненный к печке топор.

— Острый топор-то? — спросил он медленным шепотом.

— А как же, острый, конечно, вчерась сам начальник домой брал — точить, а то измучился я с дровами.

В коридоре послушался топот многих сапог. Любка напрягся, и отвернувшись к двери Егорыч не видел, как топор оказался спрятанным у Любки в руках за спиной. Опер меж тем входил в дверь, вытаскивая ремень из брюк и плотоядно усмехаясь:

— Мы сейчас, Любка, твою жопу на крепость проверим и не хуем, а железной пряжкой!

Рука с топором вылетела у Любки из-за спины и нависла над застывшим в улыбке молодым опером. Краска медленно слетела с его гладко выбритых щек, и он попятился к окну:

— Ты это брось, ты чего, я же в шутку, — начал он, но не договорил.

Топор обрушился на его голову и, скользя, оросил брызнувшей кровью стену. Отчаянно завизжав, опер полез в зарешеченное окно, цепляясь за надежно сваренные прутья решетки, а Любка как автомат молотил и молотил лезвием топора по спине и шее опера. Оторопевшие менты попытались было отбить начальника, но Любка пошел с топором и на них. Одного он успел зацепить, но только легко — руку задел, а второй и ждать не стал, выскочил зайцем в коридор и захлопнул за собой дверь. Любка не помнил, сколько времени прошло, — он все рубил и рубил в остервенении топором, разваливая стол и табуретки, кромсая кучу окровавленного тряпья — то, что осталось от молодого опера. В комнате было жарко и тихо. Опомившись и оглянувшись, Любка, прислушался и уловил какое-то дыхание за печкой. Он заглянул туда — в простенке скрючился и жалобно смотрел на него смертельно испуганный Егорыч.

— Не бойся, тебя не трону, — пробормотал Любка. — Катись отсюда, да скажи им, — Любка кивнул на дверь — живым не дам, всю сволочь советскую крошить буду...

Егорыч зашуршал по щепкам и кровавому тряпью к дверям. Снова наступила тишина. Так прошло полчаса, может час, Любка услышал осторожные крадущиеся шаги. Приготовившись, он стал у двери. Она медленно отворилась, и в щель влезла рука с револьвером. Изловчившись, Любка рубанул по этой руке — топор и вправду был острым — послышался вопль, и отрубленная кисть грохнулась у ног Любки вместе с револьвером. Его Любка поднимать не стал, побоялся, не знал, как управляться с ним. В коридоре теперь слышались разговоры, шаги, суета многих людей. Из-за двери послышался чей-то голос:

— Заключение Н..., а заключение Н...

— Чего, начальник, пиздишь, а в дверь неходишь? Дрейфишь, сука большевистская, рабовладелец проклятый!

— Ты того, Петя, — слышался другой более вкрадчивый голос, — бросил бы топор, а то тебе же хуже, приговор утяжеляешь.

— А мне, начальник, на твой приговор насрать! Я сам себе приговор определил: жить не хочу после того, как Мишку убили...

— Ты, Петя...

— Я тебе, сучья рожа, не Петя, а Любка, Любовь Петровна, понял!!

— Ну, Любка, хватит тебе восстание поднимать, пошумел и будет. Бросай топор и сдавайся по-хорошему!

Любка ничего не ответил, только улынулся жестоко. Дверь внезапно широко отворилась, и на пороге с винтовками на перевес встали двое с выставленными вперед оголенными штыками. Любка, прижавшись к окну, ждал выстрела, но его не последовало. Раздвинув ментов, в комнату осторожно вошел какой-то чин в зеленой гимнастерке с туго перепоясанной талией:

— Бросай топор, Любка, кончились шутки!

— А я не шучу, начальник, комиссар, убивец моей жизни! Живым я вам не дамся!

И Любка, размахнувшись, всадил топор в левую руку: обрубки пальцев посыпались из-под лезвия. Превозмогая боль, Любка перехватил топор в левую, инвалидную уже руку, и рубанул по правой руке. Уронив топор, он, белея лицом и туманясь сознанием, все ждал выстрелов. Но их не было. Ничего не было. Только брызги крови на белой стене...

## XI

Очнулся Любка в какой-то камере. Оглядевшись, понял, что лежит на железной койке, на чистом белье, под грубым одеялом. Окна в камере не было, Прямо над дверью пылала огромная лампа. Звякнул волчок. На Любку глядел большой, увеличенный стеклом, карий глаз. Загремела кормушка — гладкое, розовое лицо заглянуло в нее:

— Ну очухался. Жрать будешь?

— Сколько времени я тут? — спросил надтреснутым голосом Любка.

— Да пятый уж день сегодня. Возились тут с тобой. Кучу врачей нагнали...

Только сейчас Любка вспомнил все, и острое лезвие тоски впилося в висок. Культияпки рук, закутанные в бинты, мучительно заныли.

— Жрать будешь? — снова спросил мент.

— Не... да и нечем мне теперь.

— Приспособишься. Проголодаешься — так лакать начнешь.

— Да где ж я-то?

— Да где еще, кроме тюрьмы, тебе быть? На больничке тюремной ты, паря. А суд меж тем уже был. Может тебе и вправду лучше было кончать собой. Бумагу вчера принесли — вышка

тебе, Любка.

— Ну вот и ладно, и хорошо. Когда поведете?

— Да етого никто не знает. Тут особые работают, из НКВД. Мы тут уже ни при чем. По другим случаям по-разному. Кого на второй день после суда кончат, а кто и год под вышкой сидит, а потом, глядишь, и помилровка ему выходит: на двадцать пять заменяют.

— Так что надежда у меня есть, — улыбнулся Любка.

— У тебя-то, я так полагаю, что никакой. Ты ведь политический теперь — начальника в зоне пришил, да антисоветчину выкрикивал. И в приговоре сказано «Особо опасный и жестокий враг народа».

— Где уж тут надежда! — снова заулыбался Любка.

— Да чего ты все улыбаешься-то? Сердце у меня и то защемило. Молодой ты ведь очень, и на брательника мово смахиваешь...

— А то улыбаюсь я, начальничек, что радый я очень: жизнь эта распроклятая тюремная да воровская кончается. Любовь мою убили вы, душу мою заплевали и обосрали словами гадскими, руки я себе сам пообрубал — думал кровью изойти. Так чего же мне не радоваться-то?

## XII

Но радоваться Любке не пришлось. Год просидел он в смертной камере, каждый день ожидая расстрела. И каждое утро, как раздавалась команда — «На opravку выходи,» — сердце его падало от страха и надежды. Но конец все не приходил, а страх оставался. Теплым августовским утром сидел он на голом цементе прогулочного дворика и рассматривал еще не сошедшие струпья на своих обрубленных пальцах. Сквозь сетку, покрывающую дворик, видно было голубое в туманной паутине небо. Солнце перевалилось из-за, крыши и бросало лучи, расчертив в клетку стены, и пол, и самого Любку. Воробышек присел и зачирикал где-то по соседству. И Любка вдруг почувствовал, что не хочет он умирать, не хочет лежать холодеющим телом на мокрой от крови земле. Он вдруг понял, что все его страдания, бывшие и будущие, все они — ничто перед глотком свежего незарешеченного воздуха, перед шелковой зеленью травы, перед рыжей ожухлостью падающих осенних листьев...

Вечером в Любкину камеру запустили новичка. Был он широким в плечах, с бородой, занавешивающей нижнюю часть лица, и густыми бровями, нависшими над глубоко сидящими глазами.

— Федор, — коротко бросил он Любке.

— Вам, Федя, чаю налить? — мягко спросил Любка, оглядывая соседа.

— Ты, парень, не лебези — не люблю я фраеров. Я сам себе и налью, и сам выпью.

Любка обиженно замолчал. Выпил чай, улегся на койку и отвернулся к стене.

— Ты что — обиделся, что ли? — неожиданно просил новый сокамерник. — Я ведь так, не нарочно. Тебя как звать-то?

— Любкой.

— Ааа, слышал, еще на зоне сказывали. Ты не серчай на меня, Любка. Я ведь тоже под вышкой сижу. В побеге был, двух ментов кокнул...

— Ты откуда будешь? — с интересом спросил Любка, усаживаясь на койке по-турецки.

— Из Москвы я. Вообще — то я из деревни. Калужские мы. В Москве-то учился я. В университете. Около Манежа. Может знаешь?

— Как же, места знакомые, три года там шастала я, — Любка затараторил, не забывая при этом называть себя в женском роде.

— Ты и взаправду женщиной себя числишь?

— Взаправду. Мне мой муж говорил...

— Как это муж?

— Ну любовник мой, друг сердечный, которого Рахим — татарин убил ... Может слышал?

— Да знаю я твою историю.

— Так вот, Мишка говорил: «Тело у тебя мужское, а душа женская!» И хочу я теперь, хоть и вышка мне назначена, по этим словам жить: женщина я и в етом виде смерть приму!

Помолчали.

— Ты мне, Федя, другое скажи. Ты ведь ученый, из студентов. Вот люди, советские эти, большевики, всю голову мне в зоне проебали — говорят, мы самые лучшие, мы для народа все делаем: и революцию, и канал этот проклятый, и вообще все для лучшего... А ведь дышать-то нечем. Ведь ни шагу ступить свободно нельзя, ведь и хлеба и того иногда нет. Как же это? Что, злодеи они или просто слепые да безмозглые?

— Да нет, не слепые и не злодеи рожденные. А я так думаю, Любка, люди всегда лучшего желают, сколько им не давай. Вот и находится среди них один или два, что в довольстве да богатстве родились, но сочувствуют народу. Смотрят они сверху из своего богатства и решают: «Мы всех наверх потянем, всех одинаковыми сделаем и ублажим». А ведь это-то против естества человеческого и природного. Не равные, не одинаковые мы. Что для тебя хорошо — для меня тоска смертная! А люди эти лобастые — себя за богов считают, вождами называют, и тянут и толкают людишек через кровь да грязь к всеобщему уравниению да счастью. И вот выходит-то не счастье, а всеобщее убийство и ненависть. Канал беломорский, да колхозы голодные!

— А эти — вожди что же?

— Да ничего. Помыкаются, помыкаются, опыты на людях ставить надоеет, и превращаются они в обычных царьков да вельмож, что на заливке у народа сидят, да кровь пьют. И много потом времени надо, чтобы вернуть жизнь к естеству ее, где все разные и не равные, и каждый свое место занимает, а ежели не нравится это место, то может свободно его менять, но не трогая и не помыкая другими людьми.

— Да когда же это будет-то, здесь в России — то есть?

— Кто его знает! Может через сто, а то и двести лет. Но будет!

Откинулась кормушка. В нее заглянуло напряженно веселое лицо дежурного мента.

— Ну кто тут Федор П.?

— Я буду за него! — ответил Любкин сосед.

— С вещами — собирайся!

— Ну, Любка, не поминай лихом — короткое свидание у нас получилось. Даже не успел тебя спросить, каково это с мужиками спать. Прощай!

— Прощайте, Федя, дай Бог вам всего хорошего!

— А тебе помиловку я желаю от всего сердца. Жить ведь все равно охота. Правда ведь, Любка?

— Правда! — Любкины глаза заслонила пелена непрошенных слез. — Можно я обниму тебя, — вдруг спросил он Федора.

— Ну что ж, коли нет другой женщины, пусть хоть ты за нее последний в жизни поцелуй подаришь.

Любка крепко в губы, как дорого друга, поцеловал уходящего.

Захлопнулась стальная дверь. Стихли шаги ведомого на казнь. К вечеру Любка с замиранием сердца услышал снова шаги коридорного. Та же физиономия просунулась в кормушку и так же весело спросила:

— Ты будешь Петр Васильев М...?

— Я, — чуть выдохнул воздух Любка.

— Получай бумагу, да расписывайся, что прочел.

— Да не умею я быстро.

— А я не тороплюся. Ты читай, разбирай, а я послая приду.

Кормушка с треском захлопнулась Любка принялся читать по складам: «Президиум Верховного Совета...» «...помиловать и заменить...» «двадцать пять лет...» Бешено стрекотало сердце, голова Любки трещала от боли, а он се снова читал: «заменить на двадцать пять лет собо-строного режима...»

— Ну, радый очень? — спросил его коридорный.

Любка усмехнулся:

— Не то слово, от счастья летаю: двадцать пять лет! Всю жизнь радоваться буду.

— А что ты хотел, на волю что ли после такого дела? Ты спасибо скажи, а то соседа-то твоего вчера тю-тю, нету его уже на этом свете.

— Да кому спасибо сказывать? Богу что ли?

— Ну не Богу, потому, как наука говорит, нету его, так судьбе хоть скажи.

Эпилог

А через неделю вывели Любку, жмурящегося от яркого света, к тюремным воротам. Лихо подкатил, урча точно кот, воронок, и покати́л Любка на очередной этап, на вечную каторгу.